

К Т 1000189

ас

Василий
ПУЛЬКИН

АЗБУКА ДЕТСТВА





*Моей матери
Елизавете Ивановне
посвящается*

Вечереет. Я сижу у окна, уронив на подоконник руки. Они словно чужие, со вздувшимися венами, временами я их даже не чувствую.

Я смотрю в окно. Над самым горизонтом висит тяжелая мрачная туча. Солнце медленно опускается за нее, и туча светлеет — вдруг становится легким облаком. Но не надолго. Солнце опускается ниже, свет его меркнет, и опять над горизонтом та же тяжелая мрачная туча.

Я смотрю в окно. Теперь, уже не шурясь, смотрю на воду. Погасли солнечные блики. Будто тяжелые блесны утонули —

опали на дно озера. От ветра вода дышит темными холодными буграми. Осень. Красивая, печальная пора, думаю я, и провожаю взглядом желтый ворох березовых листьев, подхваченный порывом ветра. И такая тоска в кружении этого вороха... Осень и в моей жизни. За плечами шестьдесят. Ноги уже плохо держат мое грузное тело. И уже никто не позавидует моим зубам. Глаза поистратили зоркость. Лицо заморщилось, как лежалое яблоко. Волосы на голове поседели, поредели. Нет, конечно, не только от старости... Взять моих родичей, так бегали бы они еще конь конем. В мои годы никто из них не думал о старческих тяготах. Они и сейчас, кто жив, в каждодневных делах и заботах. Не зря, видать, мой дед и бабка по матери прожили вдвоем двести лет. Умерли они, как деревья, — на ногах. Их дети, которые с войны вернулись да пережили ее, и по сей день здравствуют. Старший, дядя Павел, девяносто шести лет, будучи вдовцом, еще сватался к ровеснице. В позапрошлом году как раз. Только отказала ему ровесница. Подумала-подумала и чего-то устыдилась. Тетка Мария будет помоложе дяди Павла. Ей девяносто два. С характером тетушка. Скажем, надумает в Шугозеро к родне или по какой надобности, отговаривать ее — пустое дело. А до Шугозера ни мало ни много — шесть десятков верст.

Старшей сестре отца, тете Насте, — под восемьдесят. Чувствует она себя совсем молодой. В руках ее любая работа горит. Сена ли накосить, дров ли в лесу напилить, рыбы ли наловить бредцом, по ягоды ли сходить. И все-то она делает так ловко, так весело, что старость до сих пор в конфузе: не знает, с какого боку к ней подступиться.

Матери моей за восемьдесят. Только в прошлом году услышал я впервые от нее слова, похожие на жалобу: «Нет, сынок, где уж мне до моих братьев и сестер...» Но ухват у нее в руках. А у нас, вепсов, это признак власти в доме.

Крепкая у меня родня. Только я вот... Если тягаться с родней годами, еще молод, а по здоровью...

— Вон как война в вас сидит. Да и жизнь, похоже, была

не сахар. Вы просто двуличный, опять выкарабкались,— говорит врач, выписывая меня из больницы в который раз.— Скажите спасибо отцу с матерью.

Матери я скажу. Отцу уже не придется. Умер в сорок шестом. До победы дожил, с фронта вернулся, а смерть-то через год его и настигла.

...Уже глухие сумерки. Я смотрю в окно, а мысли мои далеко-далеко. Где-то у самых истоков моей жизни. Там я вижу мать, отца... совсем молодыми. Вижу деда Ваню и деда Дмитрия. Бабушку Лизу и бабушку Аннью. Дядю Павла и тетю Настю — многих вижу. Все они — корень, от которого и я пошел.

ДЕД ВАНЯ

Высокий, стройный до самой глубокой старости, с продолговатым скуластым лицом, с густой гривой черных волос на голове и седой бородой.

— У тебя ён — ты богат. Нет — ты беден.— Меж бровей деда западает глубокая складка, ладонь рубит воздух, каждое слово чеканится: — Хоти, внучок, не только исть его, но и рóстить,— говорит дед Ваня, подавая мне кусочек черного хлеба. Его маленькие темные глаза горят дерзким огнем. Когда он так говорит, не всякий осмелится возражать.

Он родился в Корбиничах, а всю долгую жизнь свою прожил в Харагиничах — неподалеку, версты за четыре.

Его пятистенный дом с высоким просторным чердаком стоял особо — под крутой горой, у большака. Вся округа знала тот дом. Хлебосольный был. В любое время дня и ночи — в знойный ли июль, в крещенские ли морозы — всегда здесь можно было увидеть гостя. Зайдет ли нищий за пода-янием, или приказчик придет по делу, да и без дела,— сочтет для себя за честь открыть хозяйскую дверь; поступит ли случайный прохожий, застигнутый темнотой или непогодой,— всякому в доме будет дан приют.

Дед Ваня не имел своих лесов, больших угодий. За богатея его не считали. Весь его достаток и, с виду, избыток добывался горбом. Работали в семье деда от темна до темна. Всем в доме, хотели они того или нет, оставалось лишь одно: жить по законам деда. Он первым вставал, первым брался за дело. Пахать ли, сеять ли, косить, валить ли лес для сплава. Дня ему не хватало. По вечерам при свете лучины плел он лапти, корзины, чинил обувь и сбрую. Казалось, и спать отправлялся с досадой на то, что пора. В труде он отдыхал, в труде страдал. Трудом лечился от хворостей, трудом глушил горе. И радость находил в труде.

От трудов и от дедовой неумности дом отдыхал в иные воскресенья да в престольные праздники. Кто знает, будь его воля, он бы и их отменил. Но «сии дни ниспосланы свыше». И им дед Ваня отдавался так, как мог только он.

Праздник. Дед снимает лапти, порты и рубаху из толстого точива. Надевает темно-синий бостоновый костюм. Пристегивает к карману золотую цепочку с часами. Но это еще не все. Он берет в руки легкую бамбуковую тросточку. Перекладывая ее из руки в руку, озорно, со смехом, говорит: «Тросточка заморская, а руки-те, руки-те!.. Не по ней — мужицкие! Ничего. Пускай и в таких побывает, не все в барских...»

И, чинно выступая во главе семейства Кирилловых, ведя под руку высокую, стройную бабушку Лизу, идет в церковь. Поскрипывает начищенными до слепящего блеска сапогами, помахивает заграничной тросточкой.

Но праздники дед любит не за эти прогулки на виду у всей деревни. В такие дни он принимает гостей, и это мало с чем сравнимое для него удовольствие.

С утра он ожидает их дома, сидя за гостевым столом, покрытым белой с красными узорами глаженной скатертью. На столе только хлеб-соль. Закуски же появятся позже — какой посетитель. Мало ли кто зайдет. Незнакомых дед разглядывал с каким-то жадным оценивающим вниманием. Он

готов воздать человеку по достоинству, по его сути, а не по одежде.

Знакомому, любезному гостю ставились на стол четверть вина и дорогие закуски: птичье мясо, курник¹ с форелью или харнусом, сусло — запивать вино. Иному же гостю, даже знакомому, — суслиное пиво, грибы. И рыба ему подобающего сорта: окунь, щука, плотва. А уж самым случайным гостям, которые ничем не задевают дедовой души, миска бобовых шей, ковш пива.

Ест, пьет человек, а дед как бы в сторонке. Едва-едва занимает гостя разговором, но сам ни до чего не дотрагивается. Гость должен наливать себе вино или пиво и пить-есть по настроению и аппетиту.

Всякому недовольному дед спокойно, но бесцеремонно укажет на порог:

— Не любо — не держим. Дверь пола.

Такое случается редко. Когда гость скандальный по натуре.

Особо дорогих сердцу людей дед Ваня принимает на чердаке в назначенный день и час. Тут он и сам не откажется присесть рядом, налить себе маленькую серебряную рюмочку. Гостю же поставит граненый стакан. Дед не любит вина, пьет чуть-чуть, из уважения к гостю. Не любит он и пьяных. О них говорит посмеиваясь:

— Все, готов. Голову в портки уронил.

С тем, кто ему интересен, он рад побеседовать. Но сначала двумя-тремя фразами как бы попробует человека на зуб: не размягчал ли от еды, не будет ли только поддакивать. Тут и решится, быть беседе долгой или короткой.

Дед умеет читать и писать. По тем временам достоинство редкое. Может быть, поэтому, а может, уважая в нем природный ум и основательность, к деду часто приходят за помощью, за советом. Правда, побаиваются его языка, насмешливого тона. Но дед со всеми искренен и прям.

¹ Курник — пирог.

И в семье последнее слово за ним. Старшие его сыновья, Павел и Лаврентий, уже взрослые мужики, послушны ему. И дело тут не в тяжелой отцовской руке, в его резком характере. Дед, кстати, не кичится своей родительской властью. Дело в другом. Каждое решение, каждый совет его кажутся такими разумными, что и в голову не придет решать или поступать как-то иначе. Но своего ума ни Павел, ни Лаврентий не теряли. Поэтому, когда приспело обзаводиться семьями, оба уже имели на примете девушек. Каждый выбрал сам. А дальше помалкивали, ждали слова отца.

— Теперь, кажись,— сказал как-то дед Ваня старшему,— тебе пора о женитьбе подумать.

— Можно,— ответил Павел.

— Жену выбирай сам, на нас не смотри. Мало ли кому она будет не по нраву. Тебе будет любя — всем нам будет любя. Но не бери, сынок, очень баскую. Она другому может приглянуться. И не бери совсем худую. На люди с ней появиться — стыда не оберешься. Ленивой не бойся, от лени отучим.

— Ну, раз ты, отец, не против, я готов.

— Уже?.. Быстер, парень, видать, приспичило... Говори, кого высмотрел?

— Ульяну Орешеву. Девка ена речиста, ласка, баска. Только вот за ей водится...

— Леновата?

— Леновата...

— Девка не из-за моря — знаем. Женись,— еще немного подумав, сказал, как отрезал, дед Ваня.— Мы с матерью перечить не будем. Тебе гожа?

— Гожа.

— Так и нам пригожа. А что леновата — так не косовата. Свадьбу сыграли на воскресенье. Утром в понедельник, еще до зари, все поднялись и, как было заведено в этом доме, принялись за работу. Одна невестушка полеживает на пуховой перине, нежится.

Никто ей ни слова.

Сели за стол завтракать. Дед разрезал кусок мяса на части, кладет перед каждым, приговаривает:

— Это тебе, мать,— ты печку топила, исть готовила. Это вам, Павел с Лаврентием,— вы дровни вязали. Это тебе, дочка Олена,— ты за скотиной ходила. Это вам, ребятишки малые,— вы воду в дом носили, дрова. Это мне — я сапоги шил. Кажись, все.

— А мне? В дом взяли, а...— Ульяна смотрит на мужа, но тот занят своим куском мяса, будто не замечает.

— А тебе... Вот,— и дед Ваня ставит перед невесткой ковш холодной воды.— Ешь — в зубах не застрянет...

Обиделась Ульяна. Так надувшись и просидела до вечера в углу.

Никто ей ни слова.

На другой день встала невестка со всеми. Спрашивает деда:

— Чем же мне-ка сегодня, батюшка, заняться?

— Вот теперь, доченька,— от души широко заулыбался дед,— я вижу, что ты к нам в дом вошла. Бери ножницы, стриги овец.

— А ежели не угожу работой-то?

— Постарайся, так непременно угодишь, не сомневайся...

Вскоре после того пришла мать невестки навестить дочь. Посмотреть, как ей живется у мужа. Не успела она порог переступить, как бежит к ней ее Ульяна с прялкой в руках:

— На, мама, пряди! В этом доме без работы не кормят.

Помнил дед Ваня и о дочерях. Говорил им:

— Замуж не торопитесь. Замужем — не в раю. Но и не тяните очень. Дорого яичко ко христову дню. Мужа выбирайте работающего. Хорошо, чтобы и не дурак был. Ну, а на красу не глядите, не с лица воду пить.

Так вот, не торопясь, выдал дед Иван двух старших дочерей. А младшенькая, Олена, засиделась в невестах. По вине же деда. Приехал жених из Нюрговичей свататься — отказ. Дружка жениха только руками развел: «Ну и ну! Спро-

су нету...» Другой жених обиделся бы, испугался позора, а этот чуть погодя снова приехал. И опять — отказ.

— Смотри, Ваня, засидится Олена в девках...

— Это мы еще, мать, поглядим.

— Да чего уж глядеть-те... Теперь, поди, ни один жених на порог не ступит. Слава-те пошла, покатилаь, осрамили парня,— так с дедом могла разговаривать только бабушка Лиза.

— Не отпевай до сроку. Парень тот не уйдет,— спокойно отвечал дед.

— Чего говоришь-те? Неужто ен опять приедет?

— Ежели я в ем не ошибся, то может...

Видно, держал дед Ваня что-то свое в голове. Только не говорил об этом. Трижды отказывал жениху, хотя и знал, что дочери он по сердцу. Начала Олена таять на глазах. Но молчала. Посмотрит дед на нее ласково, а она голову опускает. Только вздохнет украдкой. Подошел он однажды к ней, погладил по голове, поднял пальцем подбородок, сказал, глядя в печальные глаза:

— Полно горевать, доча. Одевайся как на свадьбу.

Олена в слезы.

— За кого же ты меня, батюшка?..

— За желанного...— усмехается дед.

— Звать-те хоть как его?

— Сама знаешь...

— Господь с тобой, тятя! Никого я, кроме Василя, не знаю...

Ничего не ответил дед. Заложил санки, усадил Олену, так она и уехала в слезах. А дома все остались в догадках теряться.

Приехали в Нюрговичи. Остановились у крыльца того парня. Олена глазам своим не верит. Еще пуше реветь. «Зачем остановились?— думает.— Мало тятя прошлого позора...»

Так и вышла из саней ни жива ни мертва. Вошли в дом.

— Ежели не поздно, то вот тебе, Василий, жена,— говорит дед Ваня.

Парень и бровью не повел, только чуть смутился, увидев заплаканную Олену.

— Нет,— говорит,— не поздно.

— Тогда уступаю.

— За что же, Иван Кириллов, мне-ка такое счастье? — спросил жених, рассиявшись наконец.

— За терпенье, Василий. За терпенье...

— А я ведь опять по вашу Олену собирался...

— Вот, значит, как я не ошибся. Хоть не с первого раза, а увидел, что любви вы друг другу. Потому и приехал. А что поздно увидел, прости уж...

Дед Ваня глянул на родителей Василия, сказал:

— Вы уж, Анисья и Дмитрий, обиды не держите.

— Чего уж там...— ответили те.

Трудно было им сердиться на Ивана Кириллова. Когда-то, порядком лет тому, крепко он их выручил. А случай был такой, что могло бы сейчас и в живых не быть Василия, теперешнего жениха Олены...

— Раз любви друг другу, благословить надо,— только и сказал отец Василия.

Так вот и свело судьбою мою мать с отцом.

РАССКАЗЫ ДЕДА ДМИТРИЯ

Зима, морозно. На дворе сумерки. В избе холодно, полумрак. Тихо в избе, будто все живое померло. Но вот на печи зашуршало, и оттуда спустился шупленький — веретенком тряхнуть, бородатый, волосатый старичок. Шатаясь, сходил на двор, помылся, у окна закурил и, прокашлявшись, сказал бабушке:

— Кажись, Анисья, отошел малость.

Бабушка радостно засуетилась у печи, загремела ухватом. Дедушка садится на лавку, я забираюсь к нему на коле-

ни. Рукой держусь за бороду. Слышу, как что-то в груди у дедушки долго хрипит.

— Болеешь, дедушка?

Дедушка откашливается, но хрип не проходит.

Он целует меня в лоб, покачивает на сухоньких коленях, гладит по голове.

— Болесть, внучек, другой раз пристанет совсем ни с чего. Не впервой. Раз, помню, было со мной такое...

Дед Митя вдруг замолкает.

— Что было-те? Дедушка?..

— А? — не сразу отзывается он. — Что было? А-а... Случилось раз в Тихвину по нужному делу идти. До города, считай, верст поболее ста будет, а мне-ка хотелось к вечеру на второй день домой вернуться. Лето ведь было. А летний день крестьянина цельный год кормит. Ну вот, проснулся я еще до солнышка и сразу в путь. То утро туманное было, значит, и прохладное. А одет я был легко. Вышел на большую дорогу и пустился бечь, будто за мной волки гонятся. Без передыху добежал до Заборовья, остановился покурить, и так мне-ка пить захотелось, аж терпения никакого нету. Подошел к Нашё, припал на коленки и, покамест досыта не напился, не поднял головы. Потом вытер губы, подумал: не заболеть бы от холодной-те... Подумал — как в воду глядел. Вернулся я на второй день рано. Солнце еще на ладонь выше леса было. Попросил у матери поесть. Ена, помню, подала мне-ка крыночку молока, кусок хлеба. Поел крошонки и сразу спать. А проснулся я, внучек, ровно через месяц. Все то время у меня ни крошки во рту не было. Вот, видать, подумал в неровный час, и на тебе — напасть. Помереть мог бы. Только смерть — ена что? Придет, заберет твою душу и унесет ее в рай али тама в ад. А тело хошь куды — ено без души что полено дров. Вот у нас была лошадь, да бог прибрал... — О чем бы ни говорил дедушка Дмитрий, уж о Лысом не забудет упомянуть: — Работящая была лошадь, добрая. Верно, теперь в раю разгуливает, — голова дедушки клонится мне на плечо, он шмыгает носом.

— Дедушка, жалко-те Лысого...

— А уж мне как жалко-те, Андрияша. Сколь годков ен нам служил верой-правдой.

— Расскажи, дедушка.

— Чего рассказывать? Слышал же...

— Еще расскажи. Дедушка...

Ветхая наша хатенка тепло держит плохо. Приходится по несколько раз на дню топить маленькую печурку. Вот и сейчас, перед тем как заткнуть дыру в потолке, бабушка сгребла оставшиеся головешки в большой печи. Поддела их совком, перенесла в маленькую, подбросила дров.

В красном углу, где обеденный стол, еще совсем холодно. И пока не сели есть, дед надел полушубок, а на меня накинул бабушкин кафтан.

— Ну, теперь, пожалуй, в самый раз начинать,— дедушка улыбнулся. Правый глаз сощурился, одна сторона рта чуть приоткрылась, усы, как у таракана, шевельнулись. Видно, обдумывал, с чего бы начать, посмотрел в сторону бабушки с прялкой у люльки и начал:— Видишь ли, внучек, баба без мужика — вдова. Дети без родителей — сироты. А крестьянин без лошади — нищий. Так вот. Остался я без своего Лысого и тоже стал нищим. И спроси, за что это бог наказал? Век вековечный жил честно: чужого не брал, людей не обижал, нищим подавал, бога, слава ему, почитал. А вот поди ж ты... А какой коняга был! — дедушка покачал головой, сморщил худенькое лицо, прослезился.— Бывало, другой раз, усталый, в осеннюю распутицу залезет с возом в яму — колес не видать. Подойдешь к нему, поглядишь ему в глаза, попросишь ласково: «Ну, милай, поднатужься!» Посмотрит на тебя, мотнет головой, будто понял. Спружинится весь, аж все жилы поверх кожи выступят. Крякнет, ровно человек, и — пулей вылетит на сухое. А то иножды, в ночную пору, бывало, попадешь в пургу на долгом перекрестке с тяжелым возом. Дороги не видно, холодно, страшно. Волки в лесу стаями ходят. Надеяться не на кого. Ну, думаешь, хана тебе, Митя. Остановишь Лысого, покормишь

малость, попоишь, погладишь, скажешь, как человеку: «Ну, милый, на ты вся надежда. Доберемся до жилья — паны, нет — пропали. А уж коли пропадать, так вместе». И, знаешь, послушает ен, соберет свои последние силенки и... пошел, пошел. Дотащит до места. Не надо его ни понукать, ни бить тем более. Ежли остановится, бывало, значит, так надобно ему. Посмотри, может, что в сбруе неладно али своя нужда одолела. А то идет ровным шагом. Ну, тут его, конечно, как малое дите и угостишь. Уж тут для него ничего не пожалеешь. Сам не поешь, а его угостишь.— Дедушка \llcorner молкает, словно набирается сил, чтобы дальше рассказывать.— Один раз, помню,— продолжает он,— не было Лысому и шести годков, ехал я верхом по незнакомой тропинке. Лето, смеркается, дождик накрапывает. Сижу я на ем, ровно кавалерист лихой. Веселый, благодушный. Напеваю себе под нос песенки, какие на ум взбредут. А то, грешным делом, и сам придумываю. Ну, скажем, хлестанет меня веточкой по щеке, я и пою: «Хлестанула меня веточка сильненько по щеке...» Али тама капнет на нос дождинка, я и тяну: «Капай, капай, миленький, вона как тепло-те...» И так, знаешь, дурачусь, как вдруг... проваливаюсь. Гляжу: ой батюшки! Лысый мой по самую шею в земле. И я с им.

Волосы у меня на голове торчком встали, глаза на лоб полезли, чую: лицо каменеет. А Лысого тем временем вместея со мной тянет в глыбь. Пробую с коня слезть, чтоб помочь ему, да куда там. Ноги-те зажаты — не вытащить. Вот где страх пробрал. С той поры у меня волосы и начали сесть. Теперь, думаю, остается мне-ка одно: смотреть, как совсем уйдем под землю. Криком бы закричал, да голос пропал. И только-те успел я шепотнуть: «Все. Прощай, белый вет »— Лысый мой ка-ак скопытитися да как рванет. Раз, другой. А на третий — выбрасывает передние ноги на твердую землю. И не успел я глазом хлопнуть, как оказался на воле. Отъехал я маленько от того места, привязал его поводом к березе. Разделся, соскреб с одежды грязь, вытер сухой травой Лысого. Потом срубил длинную еловую жердь,

воротился к яме. Сунул туда концом — жердь так и ушла. «Батюшки! — кричу. — Бездонная прорва!» Да-а... сколько раз ен меня из беды выручал — не счесть... Нижняя губа у дедушки оттопырилась, затряслась. Лоб наморщился. Из сузившихся глаз потекли слезы.

— Дедушка, не плачь. Бабушка, чего ен все плачет?

— Да болеть, внучек. Старость к тому ж...

— Скажи ему, чтоб не плакал.

— Чего б не сделала, чтоб ему полегчало-те... Может чайку тебе малинового? — спрашивает бабушка.

— Не-е... Напрасная затея. Вот здесь у меня гложет, — дед гладит запавшую грудь.

Дедушке плохо. Он забирается на печь. Я остаюсь один. Хоть и постанывает дедушка, кажется мне, что я один в доме. От коленок вверх пробирается холодком страх.

А сегодня деду Дмитрию лучше.

Встал в полдень. Накинул на себя полушубок, сходил на двор. Потом попил чайку в охотку и за брусок взялся. Пошоркал по нему ножом, сел на рундук драть лучину.

Бабушки нет. В доме мы одни остались. Я к деду жмусь.

— Садись, садись рядом. И помалкивай, — подмигивает он. — Говорить стану, так не перебивай, запутаюсь.

Дедушка старенький. Память у него ветхая, все одно что гнилая веревка. Я и сам знаю. Помалкиваю.

Дед закуривает.

— Про Лысого?

— Про Лысого.

— Вот, значит, ен какой был. Ежли бы ен был не мой и стали бы мне о нем всякие чудеса рассказывать, я бы не поверил. Потому что не конь был, а и вправду — сказка. И рóстил я его сам. Своими руками. Потому как ен был от нашей же кобылы. Тоже была умной лошадь. А на Лысом начал я работать, когда ему стукнуло ровно три годика. И, знаешь, поверить трудно. Как запрягли в оглобли, так пошел ен, ровно-те век свой ходил в упряжке. Другая ло-

шадь, бывало, покамест привыкнет, не одни оглобли переломает и не одну сбрую перервет. А Лысый с первого разу все понял. К четырем годам ен набрал такую силищу, что однажды приволок на закорках огромного медведя.

— Неужто?!

— С места не сойти. Вот слухай. Так было. В одну ноченьку светлую, летом дело было, забрели наши деревенские лошади на заброшенные нивы в Чухушку. Наелись сочной травы досыта, под утро легли отдыхать. Сонные-те и не заметили, как к им подобрался медведь. Ен неслышно подошел, с подветру. А вышел ен как раз на нашего Лысого. Прыгнул, запустил когти в шею. Лысый в испуге-те вскочил на ноги и рванул... Прямяком в деревню. Где ж ему еще помощи искать? Залетает ен с ходу на двор. Тут медведь на земле очутился. Над воротами брус был, Лысый-те проскочил, а ен, мишка, так лбом и врезался в этот брус.

— И чего с ним?

— С кем?

— С медведем.

— Ясно дело. Опомнился да в лес убежал. Да и бог с ним, с медведем. Главное — Лысый жив остался. Правда, болел ен долго. Уж больно раны были глубокие... А вот у меня в руках другой случай. Слухаешь?

— Ага.

— Такой случай. Заболел твой батька. Ен еще тогда парнишкой был, чуток постарше тебя. Тяжело заболел. Мечется в огненном беспамятстве на постели и ревет не своим голосом. Всполошились мы. Бабка побежала к Еше, а я — верхом на Лысом в Найдалу к Ане — известная была Тедай Мезь¹. Только и ены ничем помочь не смогли. А парень тает на глазах и убивается, страшно смотреть. Тут приходит к Васе дружок его Игнаша Зорин. Может, последний раз навестить. Говорит: «Я Васе гостинец принес, чтоб поправлялся. Вот». Раскрывает кулак, а в ем только мокрое пятно.

¹ Тедай Мезь — знахарка (вепское).

«У меня,— говорит,— кусочек сахару был. Я его в кулаке, пока нес, крепко держал, чтоб самому не съесть. Куда ж он подевался? Ведь я Васе нес»,— и заплакал. Вот ведь как. Что делать? Думаю, ежели не свезти парнишку в Пашозеро к фельдшеру,— умрет. Одно и оставалось, раз Еша с Анной не помогли. Да и что бы не сделал сам-те, чего говорить. Куре-дуре своего цыпленка жалко, а тут человек же. Точно в такой болести умер, помню, твой дядя. Тоже был парень — сама краса земная. Ен, знаешь...

— Дедушка, а с тятей-те как?

— С Василием-те?.. А с ним так. Время то было осеннее. Иная осень, внучек, долго теплом держится. Потом разом налетит мороз и в одни сутки схватит все — кати напрямик, хоть через топкое болото, хоть через реку порожистую. Везде дорога скатертью. А та осень была не в пример гнилой. Тепло кончилось, считай, еще в конце августа, а потом пошли долгие холодные слякоти. И конца-краю нету. И нигде ни пройти, ни проехать. Думаю, ежели повезу мальчика по трясинам да горбастым корбам вокруг озера, то последнюю душу из его вытрясу. А ждать погоды — на глазах помрет. Когда старик, как я, на глазах детей помирает, вроде так и положено богом. А вот когда отец свое дите хоронит... Вот задача. И на себе не понесешь, даль-те какая. А парню все хуже и хуже. И плакать-те пробовали, и молиться-те — все напрасно. Анисья моя так та ревом изошла. Но тут к вечеру небо прояснилось, а к ночи подоспел морозец. Да такой ядреный, что озеро враз затянулось ледком. У деревни Ранд наше озеро хоть и не очень широкое, но глыбкое. К тому же по одноночному льду и раньше охотников проезжать мало находилось. Даже пешком переходил не каждый. Советуюсь с бабушкой. «Ой, ой, ой! — заголосила ена.— Дите хочешь сгубить, себя да еще лошадь в придачу!» Махнул я рукой. Думаю: с бабой советуйся, а делай по-своему. «Ладно,— говорю ей,— согласен с тобой». Сказал этак, чтобы успокоилась. А сам молчком топорик в руку и айда к берегу. Походил, походил я по ледку — ничего. Потрес-

кивает, но держит. Решил: будь что будет, рискну. Эх, думаю, еще бы санки легкие, тогда бы того риску совсем поубавилось. И тут — прямо везение какое-то — к нам в деревню приехал зачем-то Иван Кириллов из Харагинич. Теперь ен тоже твой дедушка, мамки твоей отец, поди, знаешь. Так вот приехал ен на своих санках. Видать, через озеро махнул. А санки у него — не санки, а перышко легонькое. Вот удача! Только даст ли еще? Я к нему. Так, мол, и так. «Бери,— говорит,— раз оказия такая. Я проскочил, авось и ты проскочишь. Смотри только в оба, все ж рановато еще. Потому коня своего выпягу, коня не дам». — «Ну, выручил,— говорю,— век помнить буду. А конь у меня у самого не хуже твоего. Да и деваться некуда».

Вывел я со двора Лысого. Натосковался ен по возу. Копытом бьет. Ржет, радуется. Ему тогда пятый годок шел. Лошадь в самом соку. Запряг я его, бросил в санки охапку сена, торбу овса. Справили мы с бабушкой и сына. «Смотри, не подумай через озеро,— наказывает ена.— Землю морозцем схватило, санки легкие, и в объезд, даст бог, быстро-те доберетесь». — «Да я еще не ошалел», — отвечаю. Перекрестился, взял вожжи в руки и... только на запятки успел вскочить. Лысый с места и в карьер. Махнул хвостиком, вытянулся в струну, и покамест я думал: «Может, зря я...» — смотрю, уже по озеру шпарим. Только слышно, как лед под копытами звонко цокает да шуршит позади.

А когда Лысый с храпом выскочил на гору, тут я опомнился. Остановил его. Хотел было к Василию подойти, да как только отцепился от спинки саней, так и повалился наземь. Руки-ноги дрожат, сердце стучит. До того не слыхал, а тут... Сильно так, будто кто в ребра обухом бьет. Только бы не лопнуло, подумал, веришь? И вот до сих пор гадаю: отчего это у меня так было? То ли с радости, то ли с перепугу.

Не встать, лежу, значит. Лежа перекрестился. Встал наконец. Перелез в сани, пристроился рядом с Васей и говорю ему: «Ну, братец, видать, нам с тобой не в воде помирать».

Махнул кнутом: «Ну, милай!» Лысый только того и ждал. Навострил уши, фыркнул, выбил облако снега копытом и — с места пулей.

«Видать, ты, Митрий, с сынком в рубашке оба родилась,— говорит мне-ка фельдшер, когда я ему все рассказал.— И опять повезло тебе,— говорит,— ведь я токо-токо в Корвалу навострился. Могли б не застать».

Осмотрел он Васю, говорит: «Опоздай еще чуток, Митрий, и было бы у тебя горе. А так все вовремя».

Вот ен какой Лысый. Все ему спасибо. Через него у меня есте сын и внук, а у тебя — отец и дед.

Дедушка Митя сгреб в один ворох лучину, сложил под лавку.

— Дедушка, куда так много настрогал? — спрашиваю.

— Бог даст завтрия здоровья, с утречка с тобой корзины плесть начнем. Бабка Лиза у тебя по таким делам большая мастерица. А уж до чего ловка с ножом управляться... Да, может, и мы не хуже ее сплетем корзины-те, а?

— Ага. А о Лысом завтра еще расскажешь?

— Расскажу, отчего ж... Много еще чего об нем расскажу тебе.

Забрался дед Дмитрий на печку и больше не встал. Умер дедушка.

БАБУШКИ

У кого еще отведаешь такие вкусные калитки, колобы, кокачи или овсяные блины? А репницу?! Квас такой из репы. Выпьешь ковшик, и не удержишься, чтобы другой не зачерпнуть. Уж до того сладка и духовита репница бабушки Лизы.

Много нас, ребятишек, собирается в доме деда Ивана на праздник. Тут-то и увидишь, сколько у тебя двоюродных сестер и братьев.

Сидим, ждем.

Появляется бабушка Лиза. Высокая, стройная, смуглолицая. На ней балахон цветастый. В руках дымящийся курник с хариусом.

— Это вам, ребятишки,— улыбается бабушка.

Когда все наедятся, начинается самое интересное. Бабушка приносит целую гору всяких дудок, свистелок. Их вмиг расхватывают, и каждый начинает пробовать свою игрушку, а то и две сразу, на звук. А кому не достанется, у кого уже и слезы готовы из глаз выкатиться, тому бабушка прямо здесь же, быстрыми и короткими взмахами ножа, сделает из бересты зайца или медведя. Да такого, что рот разинешь от радостного удивления. И ничего тогда, что заяц или медведь не свистят. Они и в лесу не свистят. Зато похожи на настоящих, лесных. Такие уж руки у бабушки Лизы...

— Бабушка,— говорю,— я б тоже... чего-нибудь сделал.

— На нож, пробуй.

Пробую.

Нож срывается, и я вижу, как белую ниточку пореза заливаает алым. Бросаю нож, отворачиваю лицо, реву.

— Андрюша, никак поранился?

Бабушка берет мою руку. Я чувствую: рука ее сухая, жесткая. А с моей уже падают на пол густые капли.

— Вот я сейчас, внучек, гляну на ее, ена враз пройдет. Хочешь?

Киваю головой и смотрю то на бабушку, то на руку. В строгих глазах бабушки мне ничего не видать. Зато на руке что-то делается. Кровь унялась, и вот уже от ранки осталась одна темная полоска.

— Ну, охота еще реветь? — спрашивает бабушка голосом, будто за что-то на меня сердита.

— Нет.

— Ты другой раз ножа так не бросай,— выговаривает она мне.— Нож уважать надо. Потому без его куска хлеба не разрежешь. Вот только научись управляться с им...

На прощанье бабушка Лиза дарит мне большого петуха

из бересты. С гребнем, с бородой, важного и даже сердитого на вид.

— Ен тебя утром разбудит. Закричит громче живого, — светлые глаза бабушки шуряются.

— Закричит?!

— Еще как.

Осторожно прячу петуха за пазуху. «Там ему самый раз будет, — думаю. — Не задохнулся бы только...»

Дома меня встречает бабушка Анисья.

— Ну-у... Кажу Лизины подарки, — говорит она.

С гордостью достаю петуха.

— Баский какой! Вот мастерица-те!.. Бабушка вертит в руках подарок, качает головой. — «Ты бы его Мирону показал.

— И верно!

Подхожу к люльке. Братик не спит. Смотрит на меня во все глаза. Показываю ему петуха.

— Ты вот на кого посмотри, — говорю и только тут понимаю, что братику все равно: что петуха показать, что вирзуд¹. Мал еще Мирон.

На ночь устраиваю петуха поближе к себе.

— Еще чего удумал, — сердится бабушка, заметив.

— Ен, бабушка, голосистый, — отвечаю. — Ен меня утром разбудит.

Бабушка так и прыснула от смеха в пухлую ладошку.

— Мало тебе нашего...

— Наш на дворе. Его не услышишь.

— Так тебе и разбудит берестяной петух, жди...

— Бабушка Лиза сказала.

— Ена скажет...

— Вот сама услышишь. Ты только его не трогай.

Утром открываю глаза — тишина в доме. Слышно только, как бабушка у печи возится. И рыжих зайцев на полу нет, убежали. Видать, солнце уже высоко поднялось.

¹ В и р з у д — лапти.

Я вспоминаю вчерашний день, бабушку Лизу и петуха. Мне становится обидно до слез: ведь проспал, не иначе.

— Ишь насупился туча-тучей. Ты чего такой невеселый, а? — спрашивает бабушка.

— Бабушка, а ен не кричал?

— Кто?

— Ну как кто?.. Петух бабы Лизы.

— А-а!.. Кричал, кричал. Так, сердешный, орал, что уши заложило. А ты не слышал, что ли?

— Нет.

По глазам бабушки вижу, что она шутит. Оттого мне становится еще горше.

— Ну будет тебе, будет... — бабушка гладит меня по голове. Незаметно сует руку под фартук, протягивает кусочек черного хлеба, посыпанный солью. — На, ешь. Только молчи громче...

Всегда, даже в самые голодные дни, у бабушки Анисьи, хоть для меня, хоть для младших сестренки и братиков, найдется под фартуком кусочек хлеба, посыпанный солью. «Только молчи громче», — шепнет она, и кажется тебе, что ты у нее единственный, самый любимый внук. А тот ржаной с крупинками соли сухарик покажется слаще иного кокача из белой муки.

Бабушку Лизу я вижу редко, а с бабушкой Анисьей я живу. Так что мне от нее не одни только гостинцы из-под фартука переппадают...

На прошлой неделе, как раз перед праздником, задумал я пойти ловить рыбу. Нацепил на крючок червяка, чтобы прийти на озеро и сразу закинуть удочку. И тут дернул меня черт прежде чем отправиться бросить конец лески с крючком к ногам курицы. Подразнить, наверно. Курица, бестолочь, тут же клюнула. Сообразив, что делаю что-то нехорошее, я рванул удилище.

От моего рывка курица с криком, суматошно хлопая крыльями, полетела вместе с леской на крышу. На шум из дома выбежала бабушка. Она сразу поняла, в чем дело,

схватила подвернувшийся под руку чересседельник и бросилась ко мне.

— Ах ты обушник этакий! Душегубец! — кричала она. — Ты чего ж, паршивец, вытворяешь!

Что говорить, наказание было заслуженным. Я вспомнил, как насаживал червяка на крючок: торопливо, с оглядкой. Словно уже знал, что через минуту сделаю то, чего делать нельзя. Ведь еще тогда шевельнулась во мне недобрая тревога. И какую ложью я старался заглушить ее. «Это я так... — думал. — Вот насажу, зато приду на озеро и сразу заброшу...» Поэтому сейчас, когда бабушка обрушивала на меня свой справедливый гнев, у меня не было ни слез, ни желания увернуться от ударов.

Неожиданно бабушка бросила чересседельник, опустилась на крыльцо и горько расплакалась.

— Думаешь, легко родное дите бить? Легко?..

«Ей меня жаль...» — доходит до меня, и от стыда я готов провалиться сквозь землю.

А она смотрит на меня заплаканными глазами и вдруг говорит:

— Ты только, Андрюш, когда вырастешь, в карты-те не игравай.

Я, правда, еще толком не знаю, что это такое. Но по лицу бабушки, по ее тону догадываюсь: занятие, видно, совсем худое.

— Да что ты, бабушка! — отвечаю я, довольный, что хоть чем-то могу ее утешить. — Ни в жисть!..

КАРТЫ

Видать, давно это было заведено: по осеням, зимам, в субботу после бани, забирались мужики к кому-нибудь в дом и бились до утренней зари в карты. А то и воскресенье прихватывали. Тогда уж домой есть не ходили.

Что на кон поставить — было. Деньги зарабатывали на лесозаготовках.

Наш отец проигрывал редко. Выигрывал еще реже. Чаще оставался при своих. Но когда выигрывал какие гроши, радовался тому как дите малое. Домой возвращался веселый, напевая песню.

Если мама спала, он будил ее, присаживался на кровать, начинал пересчитывать выигрыш.

— Вишь, мать, опять мы при деньгах, — радовался. Радовался скорее тому, что можно было проиграть, и проиграть немало, а он вот, ловкач, даже с прибылью остался.

Мама слушала молча, с грустной улыбкой на губах.

— Не часто ему выпадают такие минуточки, — скажет она потом, когда отца рядом не будет.

Словами этими и тоном, каким она их произносила, мать как бы оправдывала отца, чтобы мы не думали о нем плохо.

После выигрыша отец был с матерью ласков и нежен. Но к нам оставался прежним. За столом так и ходила по нашим головам его ложка. Тяжелая, железная. За все попадало: за то, что раньше взрослых сел к столу, слишком резво потянулся к хлебу, за внезапный смех, за пустяшную шалость. Потому во время еды всегда тихо, как в брошенной избе.

Когда же случалось отцу проигрывать, приходил он домой неслышно. Молча ложился, кряхтел, охал всю ночь.

Мать молчала.

— Думаю, ежели упрекну его, еще больней сделаю. Ему и так вон как больно... — говорила она.

— А ты пошто деньги даешь? — сердито шептала бабушка. — Пошто? Чтоб больно было?..

— Да как же, мама?.. Ведь ен их горбом заработал.

— Ишь об чем помнит! Горбом! А ты оглянись!.. Оглянись на ораву-те свою. Вон их у тебя сколько! И каждому исть дай. Сухой ложкой ни одного не накормишь, ена рот дерет. Вот об чем помни...

Проигрыш свой отец переживал мучительно и долго. Два

дня кряду не ел, спал плохо, был неразговорчив. Только к нам, ребятишкам, как-то сразу становился добрее. Почти не бил, а если и бил, то так... чуть мазнет костяшками пальцев по голове. Потом отходил, становился прежним. Отходил до другого раза.

Однажды он вернулся домой, каким мы его еще не видели. Лицо бледное, руки трясутся, пальцы то в кулак сведет, то разожмет. Шарит пустыми глазами по избе, спрашивает:

— Где мать?

— Корову доит.

Сел он у окна, закрыл лицо руками и... по-бабьи навзрыд. С непонятого страха и мы все в рев, как один.

Пришла мать.

— Что случилось?.. Вася?!

— Ой, беда, беда, мать! Превеликая беда! — голосит.

— Какая же?!

Ноги у матери подкосились. Так и сползла на лавку.

— Страшная! — кричит отец и бросается перед ней на колени. — Прости меня, грешного, мать! И вы, детки, простите!

— Скажи толком. Что исделал-те такое?..

Губы у матери дрожат. Слезы тихими ручьями льются. Никаких карт в голове не держит — думает что другое, совсем страшное.

А отец уткнулся лицом в ладони, мычит что-то, не разобравшись.

Открывается дверь, входит к нам Шилов Пешка. У нас у всех сердце так и остановилось. Знаем: Шилов с добром не приходит.

Встал Шилов посреди избы. Хмуро посмотрел по сторонам и говорит:

— Считай, Василий, что я у тебя ничего не выигрывал.

Сказал и ушел.

Отец наш этого ничего не слышал. Даже головы не поднял.

Наконец раскрыл ладони, вытер рукавом мокрые щеки, спрашивает:

— Кто приходил? Или мне почудилось?..

— Пешка Шилов был,— ответила мама.

— Пешка?! Что ен говорил?..

— Говорил, Вася, что ен у тебя ничего не выигрывал. Отец вскочил.

— Верно?! Ен так и сказал?!

Глаза его были сухие. Бледные губы под жидкими усами скривила улыбка. Он бросился к двери и выбежал на улицу.

До ночи молилась бабушка Анисья тихвинской богородице, чтоб пронесло. И правда: на сей раз пронесло.

Тот год выдался трудным для нашей семьи. Нас у отца с матерью было уже шесть человек. Шестой — Саша, младшенький, — лежал еще в люльке. Хлеб в том году уродился плохо. Ягод и грибов мало, на зиму не собрали. Вся надежда была на рыбу. К счастью, она тогда ловилась хорошо. Летом мы с братишкой Лешей, пожалуй, ни одного дня не приходили с рыбалки без ведра рыбы. Чего не съедали — сушили впрок. К осени сушеной рыбы набралось изрядно. Сложил отец рыбу в корзины, погрузил на смычки¹, прихватил с собой сколько-то деньжонок, надел на себя что было получше и поехал в богатую деревню Хмелеозеро.

— Слава богу,— сказала мать,— все по-хорошему. Глядишь, с хлебом будем.

Через двое суток вернулся отец. Пешком. На ногах лапти, кафтан рваный, сам без шапки. Зашел в избу, перекрестился. Мы, ребяташки, сразу-то его даже не признали.

— Батеньки! — всплеснула мать руками.— Да что с человеком-те пристатилось?!

Молчит отец, губ не разжать.

У матери голос подсека, спрашивает шепотом:

— Скажи, Вася... скажи... Проигрался?..

Через какую-то минуту кивнул отец головой.

Мать закрыла лицо руками и упала на пол как срезанная. Мы — к ней. Ревем, что делать — не знаем.

¹ Смычки — волокуша. У венсов чаще ее называют «ретукад».

Очнулась мать. Привсталала, опустилась на лавку. Отец присел рядом, положил голову ей на колени и заревел:

— Ой, какой я дурак! Ой, какой я дурак! Прости, мать, простите, дети! Боле век проклятых карт в руки не возьму.

Мать бледная. Смотрит и будто ничего перед собой не видит.

Встала, попила водички. Отец взял ее сзади за локти, придерживая, повел к постели.

— Прости, мать, ежели сможешь. В последний разочек,— приговаривал, пока шли.

— Ты не меня проси, робят. Я-то что... Их ты голодными оставил,— слабым шепотом ответила мама.

А мне вдруг до того больно стало видеть отца таким убитым, так его жалко стало.

— Да ладно уж... — говорю.— Чего там... Только б мамка... не умерла...

В люльке не своим голосом кричал Сашка. Он, верно, давно плакал, но никто не обращал внимания. Не до того было.

На другой день утром мать спросила отца:

— Как же, Вася, жить нам теперь?

Отец опустил голову, тихо буркнул:

— Как-нибудь...

Больше не промолвил ни слова. Встал, оделся и тихонько вышел из избы.

Заявился он домой через три дня, под вечер четвертого. Мы уж думали на самое худое и ревели все эти дни напролет. А он явился такой счастливый, радостный. Как вошел в избу, так с самого порога и кричит:

— Мать, дети, не горюйте! Привез вам хлеба! Целый воз! И лошадь у нас опять есть. И одноколка даже! Все, все у нас теперь есть!

Никто ему не отвечает. Видит: собрались все у люльки, молчат, насупившись.

Смок отец. Подошел. На цыпочках так, видать, учуял неладное.

— Стряслось чего?..— спрашивает тихо.

— Батька,— отвечает мама,— ведь умер Сашка-те...

Схоронили Сашу.

Улеглось немного, отошла в доме эта боль, и отец рассказал маме, как у него все вышло:

— Ушел я тогда и задумал: ежели не верну все обратно, что проиграл,— нет мне дороги домой. На первом же суку повешусь...

Мать схватилась за голову.

— Господь с тобой!.. Такое думать... А робятишки?..

— Ну пойми ты сама,— сказал отец виновато.— После того, что наделал, как в глаза вам смотреть-те?.. Подумал, подумал — захожу к твоему отцу. «Дай,— говорю,— тешюшко, червонец. Через какой день верну».

— Стыд-те какой!

— Ты слушай. «На что тебе?» — «Не спрашивай,— говорю,— позарез надо». Ну, он будто что-то учуял. «Эх, смотри,— говорит,— Василий. Ой смотри...» Но дал, спасибо ему. Пошел я в Хмелеозеро.

— Опять туда?!

— Ага. Думаю: здесь я проиграл, здесь и судьба моя. Подхожу к деревне и загадываю: ежели первым услышу, как корова мукнет,— проиграю, а ежели собака забрешет — выиграю. Слышу: собака залаяла. Да не одна, а сразу сколько-то. Тут мне, веришь ли, весело стало. Эх, была не была! Остатние сажени до деревни не помню как летел. Захожу уже в сумерках. Режутся мужики, режутся. Слава тебе, господи, думаю, не разошлись.

Увидели меня, спрашивают: «Что, Василий, опять рыбки привез?» — «Да! — так смело им отвечаю.— Рыбки и денжат прихватил. Думаю, мужики в Хмелеозере жадные, пушай опять наживутся». — «И деньги есть?! — обрадовались.— Богатей! Садись с нами», — предлагают. Узнай ены, что у меня один червонец в кармане, выгнали бы в три шеи. Ну, я сначала для виду поотнекивался маленько. Мол, боюсь: снова в одних портках выставите. Ены и клюнули.

«Раз на раз,— говорят,— сам знаешь, не приходится». — «Коли так,— говорю,— можно разок-другой перекинуться». Сам же, как эти проклятые карты увидел, так еле держусь на ногах. Руки-те так и тянутся к столу, ровно сатана в тебя забрался.

Сел. Взял карту. Туз крестовый. На кону — сто рублей. А, была не была, думаю. «Крою», — говорю. Мужики глаза на меня вытаращили. «А сколь рыбы у тебя?» — спрашивают. «Вся на столе, смотреть лучше надо! Давай карту, не тяни!» — кричу банковщику. Банковщик почесал, где чесалось, вздохнул тяжеленько. Мужики замерли, так и впились глазами в стол. Беру карту. Пальцы по картинке-то барабанят — не унять. Глянул — валет. Мать честная! Лицо, чую, холодеет. По спине мурашки. Скис, одним словом. А в мозгах шевелится: взять еще или не брать? Вроде мне кто шепчет на ухо: «Бери, Васюха. Бери еще карту!..» Требую карту. Банковщик подает. «Смотри не перебери», — смеется натуженным смехом. Видать, и самому-те страшно вато. Сложил я карту на карту, глаза зажмурил, тяну. Смотрю: опять показывается голова. Король! «Провались ты в свое царство», — проклинаяю.

Все прахом полетело: всего семнадцать очков. Но игра не кончена, виду не подаю. Ладно. «Бери себе!» — смело говорю банковщику. Тянет ен. И попадаетея ему тоже король. «Вот дурак,— ругаю себя,— взять бы мне — очко бы было! А теперь... близок локоть, да не укусишь». У него получается одиннадцать очков. Маловато, можно еще брать. Берет ен еще карту. Бубновый туз! «Перебор!» — ору. «А у тебя сколь?» — спрашивает. «Банк мой! У меня семнадцать!» Тут ен давай свои волосы рвать. А у меня дальше все пошло как по маслу. В жизни так не везло, мать. Дал господь перед горем. Сашка-те... сыночек... — и отец заголосил. — А теперь, веришь, мать, веришь,— повторил он, всхлипывая,— даю последнее слово. Ежли я когда-нибудь в руки их!..

— Дай уж бог,— печально отвечала мама.

Больше отец их в руки не брал.

ВЫСТРЕЛ

До карт было мне еще далековато. Но какого мальчонку минует в детстве искушение испытать сладость запретного?

Кто первым из ребятишек нашей деревни придумал эту затею — сейчас сказать трудно. Да и в какой деревне и когда не придумывали такое! Одним словом, стали делать самопалы. Каких только не мастерили! На дело это шли в основном амбарные ключи. Ключище иной весил фунта два. Самопал из такого получался преотменный. Ну, а у кого подходящего ключа не оказывалось, тот выстругивал из вереса изогнутую ручку (ружьё не ружьё, наган не наган), к ручке прикручивал чем придется охотничий патрон — и самопал готов. Стрелять из такого орудия можно было по воробьям. И то скорее не стрелять, а только целиться: воробьи из любопытства к диковинному оружию на месте не сидели.

И вот раз прибегает ко мне мой закадычный дружок Егор, сын дяди Феди. Мы были с ним одних лет.

— Пошли на двор, — зовет шепотом.

Вышли. Егор в малинник манит, где погуще. Остановились. Он огляделся по сторонам, разжал кулак.

— Патрон?!

— Ага.

— Где взял?

— Вовка Долинов дал.

— У отца, поди, спер.

— Где ж еще. Спрячь его и без меня ни-ни... Понял? А я побегу, может, еще выпрошу.

— Ладно, — отвечаю.

Егор убежал, я — домой. Ноги так и несут. Сердце от счастья колотится: самопал можно сделать. Стой! А Егор?.. Может, вместе-то лучше... Ждать?.. Вовка Долинов со своими патронами, наверное, убежал бог знает куда. Пока его догонит Егор... Или, может, они сейчас вместе заряжают такой самопал, что не до патронов Егору, не до меня. А я тут,

понимаешь ли, должен ждать его с каким-то одним единственным патроном...

Забыт Егор.

Беру патрон, напильник из отцовского ящичка с инструментом, спички — и в сени. Напильником пропиливаю щелку где положено, видел у других. Поднимаю руку с патроном, зажигаю спичку.

Огонь, грохот.

Очнулся — все в дыму.

От удушливого запаха першит в горле. Сквозь заволочку дыма вижу брата Мирона и сестренку Марфу. Марфа ревет.

— Братик, ты живой? — тормозит меня Мирон.

— Живой, а что? — вскочил на ноги, лоб пощупал. — А где патрон?

Оборачиваюсь — он в стене. В сухое осиновое бревно воткнулся. Только успел патрон выдернуть, входит со двора бабушка.

— Что у вас тута стряслось?! Чего такое уронили?! А дыму-те, дыму!..

— Ен, бабушка, стрелил, — сказала Марфа.

— Ой, батюшки! Ой, кормильцы! — запричитала бабушка. — А ну, ханурик!..

Она схватила меня за ухо и вытолкнула из сеней на божий свет.

— А того не подумал, мазурик, что патрон-те в лоб мог стукануть?! Трупа из тебя сделать! Не подумал?! — продолжала трепать меня за уши бабушка. — Ведь это ж на чуток оставь дом, приди, а вы все мертвенькие лежите. Застреленные!.. Чего я на то родителям твоим скажу? Подумал?!

Бабушкины руки опускаются, она устала.

— Шагом марш в избу!

Голова еще кружилась, когда я забрался на печь, забился в угол. Некоторое время лежал не шевелясь. Что будет, когда вернутся мать с отцом.

Мирон и Марфа напуганы не меньше. Они полеживают рядом и, всхлипывая, теперь уже трясутся за меня.

— Помалкивайте только.

— Ой, боюсь... А как бабушка скажет?

— Бабушка пускай. Только вы уж помалкивайте.

И вот открывается дверь. На пороге — мама.

— Где вы? Живы ли, мои желанненькие? Я вам гостинцев от зайки принесла.

Углядев нас, она достает из корзинки ломтики хлеба, припудренные солью.

— Мать, никак в сенях чем-то воняет? Кислым каким-то...— при звуке знакомого голоса сердце мое так и покапало.

— Слышь, мать, чем это?!

Бабушка занята у печи. Возится, гремит посудой. Гремит громче обычного.

Но что это? Отец пришел веселый, в добром настроении. Нагнулся над рукомойником, плещется — только брызги во все стороны.

— Слышь, мать! Оглохли, что ли?!

— Ну чего тебе, чего? Мойся давай, да на пол не хлещи.

— Я говорю: старухи теперь хитрые пошли. Через то они свою выгоду имеют.

— Какую еще тама выгоду углядел? — подхватила бабушка.— Выгоду... Скажет тоже.

— А ты послухай, послухай. Может, и тебя краешком коснется...— отец утирается полотенцем и, хитро подмигнув бабушке, продолжает: — Заходил как-то ко мне нойдольский мужик чайку с дорожки попить. За чаем-те и рассказывает: «Есть у меня теща. Ей годов еще не так много. Только семьдесят. А все ена жалуется. Мол, стара, не слышу, не вижу. Ну, я тебя проверю, думаю. Приходит раз ена в дом и садится у порога. Спрашиваю криком: «Чего топор-те не принесла?» Молчит. Говорю спокойно: «Чего на мокрый-те рундук села?» — «А кабы видела», — отвечает. Беру из кармана три рубля — я как раз должен был ей — и подаю. «Вот тебе, любезная, пятерка. Долг вертаю». Ена покрутила, повертела трешницу, поморщилась, пожала плечами да и говорит:

«Раньше, зятюшко, пятерки бывали поширше и подлиннее». Смеюсь: «Оглохла, ослепла, а трешку унюхала». Молчит. Заходит на тот случай свояк и рассказывает, что только что умер Сысоев, мужик молодой. Я ему и говорю так тихонечко: «Кому жить да жить, дак тот умирает, а вот по нашей теще давно кладбище плачет, а ена все живет и живет». Я это в шутку сказал. Теща у меня баба добрая, хорошая. Ена мое отношение к себе знает. «Да», — поддакнул мне свояк с подмигом. «Неужто, зятюшко, я уж так надоела, что не дождетесь, когда помру?» — обиделась. А мы смеемся: вишь, глухая-глухая, а услыхала. Когда до самой коснулось...»

— И правда, — смеется бабушка, — мы, старухи, теперя так. Да и не схитришь с вами — дня не проживешь...

Мама с отцом посмеивались. А я с каждой их улыбкой, с каждым шутивным словом все более приободрялся. «Пронесло! — звенело в голове. — Ай бабушка!..» Как я старался поймать ее лукавый взгляд! Как мне хотелось встретиться с ней глазами! Но бабушка словно не замечала меня совсем...

Позднее, когда далеко уже унесло тот день вслед за другими, я спросил ее как-то:

— Бабушка, а ты даже маме не сказала?..

— Об чем?

— Про патрон...

— Про выстрел-те?

— Ага.

Бабушка вдруг нахмурилась, взглянула на меня сердито.

— Вишь, я помалкиваю, — перебила она, — так и ты помалкивай! Свое еще не раз получишь. Жизнь долгая. Погоди, влетит еще и за дело и просто так, уж я знаю. Потому и смолчала, лишний разок твою задницу уберегла.

ДОЛГИЙ ДЕНЬ

Вовка Долинов, стреляя из самопала, поранил руку.

— Вот, дурья башка, доигрался,— сказал отец, когда узнал об этом.— А все отчего? Оттого, что время на худое баловство есть. Отчего ж еще?

— Верно, отец,— поддакнула мать.— Я ведь тоже своих нет-нет да и пожалею. Думаю: пусть поиграют малость, все ж дети. Наши хоть и смиренные, но и за ними смотреть надо.

Утро. Солнышко только начало всходить.

— Андрейка! — будит мать.— Твоя чередка лен стеречь. Не забыл?

— Не забыл.

— Раз так, вставай. Нечего бока отлеживать.

— Сейчас,— отвечаю, а сам думаю: «Хоть бы этот лен за ночь ветром унесло...»

Деваться некуда, надо вставать.

Выхожу во двор. Роса на траве. Блестит, переливается. Босым ногам прохладно, а потом и зябко становится. Холодок поднимается до колен, выше — по спине, и вот уже сна ни в одном глазу.

Вон и Егор. Бежит с удочкой.

— Андрюха, я за тобой. Айда удить.

— Куда?

— На Эною.

— Хорошо тебе... на Эною...

— А ты чего ж стоишь, брюхо почесываешь?

Не к лицу занятому человеку отвечать сразу. Потому оворю с затылком:

— Не могу.

— Опять?

— Ага.

— Ну и запрягли вас!

— Лен стерегу сегодня. Будь он неладен...

Егор присвистнул:

- Так бы и говорил сразу.
- Так и говорю,— отвечаю.
- Ну, пока. Побегу.

Скучное это дело — стеречь лен. Кто — рыбу удить, кто — купаться, а ты с курами воюй. Лезут они со всех сторон, как тараканы в судницу¹: Только выгонишь партию Кукушкиных, глядь — прется стадо Пальцевых. Справился с Пальцевскими, ползет на тебя белая туча тети Дарьиных. А нахальнее ее кур на всем белом свете не сыщешь. Их у нее не счесть. И такие здоровушие! Чем она их только кормит? Прямо не куры у нее, а хорошие ягнята. Ну ладно куры. А тут еще воробьи, голуби. Напасть вроде помельче, но тоже хватает...

А солнце припекает. Жарко, нудно, скучно. Смотришь на небо, думаешь: «Ну давай, солнышко, шевелись, что ли...» Только оно — не Мирон, плохо слушается.

Наконец не выдержал, побежал на озеро искупаться. Возвращаюсь, полоса белым-бела, будто снегом ее зававило. А это они — тети Дарьины. Будто где-то сидели и в шелку подглядывали, когда сторож отлучится. Укараулили все же...

Схватил хворостину — и давай их гонять по полосе. Куры наутек. Один черный петух стоит посредине, лапы расставил. Как хозяин. Не стал дожидаться, пока я его вицей опояшу, сам пошел на меня. Да как попер, как попер!.. Зло меня взяло. Подхватил камушек и пустил в него. Петух подпрыгнул, хлоп на землю и лежит врастяжку. Не шевельнется. Будто разом сварился.

— Так вот, оказывается, кто моих кур переводит! Ах ты сморчок окаянный! Ах ты сопляк шкодливый! — и пошла и поехала тетя Дарья. Как высмотрела?

Она бежала, размахивая большим березовым прутом, продолжая кричать. Шутка ли — чужого петуха жахнуть, Тем временем, глядь, петух на ноги и деру. То ли сам

¹ Судница — посудный ящик.

отошел, то ли голос тети Дарьи привел его в чувство. Тут и я ожил.

— Смотри, смотри! — кричу. — Вон он, твой мертвец! Весь целехонький!

Тетя Дарья, забыв обо мне, кидает в сторону прут и идет вслед за петухом.

— Ох ты, опрокидыш золотенный, хорошенький-те мой, подь к матушке!

— Ое-ешеньки, — вздыхаю.

А солнце еще вон где... Опять жарко, скучно. Хоть живая душа показалась бы.

Никак Мирон? Он самый.

— Мирон, ты чего?

— Андрюш, я мамкин урок сполнил, — говорит, шмыгнув носом.

Миرونу было велено натолочь в ступе ячменя.

— Все, что ли?

— Все. Сходи проверь. А теперь чего мне?

— Теперь чего?..

В голову приходит нехорошая мысль. Изо всех сил гоню ее прочь, но она неотступна. Наседает, как петух тети Дарьи.

— Проверять твою работу не буду. Так тебе верю. А ты вот чего... Постереги лен. Я на озеро сбегаю. Разок-другой испупнусь. А то голову так напекло, спасу нет.

— Ладно, — соглашается Мирон, польщенный моим доверием.

— Жарко станет, лопухом голову прикрой, — советую.

— Ступай, ступай, — важно говорит Мирон.

Но не на озеро я направляюсь. Прихватил удочку, и понесли меня ноги к реке.

Где-то там Егор. Поди, всю рыбу из Энои повыдергал.

«Ведхийне, Ведхийне¹, — шепчу на бегу, — оставь и мне пару окуней. Если пару всего, так уж большеньких, Ведхийне...»

Под густой и высокой ивой вижу Егора. Осторожно под-

¹ Ведхийне — водяной.

хожу к нему. Егор показывает глазами на добычу. Увидел я трех лещей и окунишку — сердце так и замерло. Дрожащими руками распутываю леску, с трудом насаживаю червяка, забрасываю.

«Бульк» — шлепнулся пробковый поплавок на воду. Все.

«Ведхийне, Ведхийне...» Поплавок нырнул и пошел в сторону.

Тяну. Тонко позванивает нитка. Упруго гнется удилище.

«Есть!» Сверкнув на солнце серебряной боковиной, лещ падает в траву. Да какой лещ!

Снова забрасываю. Через какую-то минуту опять поклевка, вытаскиваю здорового окуня.

И пошло у меня. Окунь — один другого крупнее.

Пойманную рыбу я выпускаю в небольшую лужицу неподалеку. Пора бы уже переложить ее в кошель, да где там — вон как клюет. Только успевай вытаскивать.

У Егора же с моим приходом как отрезало. Лежит поплавок на воде неподвижно, будто нет под ним ни крючка, ни наживки.

— Попроси у Ведхийне,— тихо говорю Егору, а у самого от счастья рот до ушей.

Надулся Егор, что-то бормочет себе под нос. Сердито посматривает в мою сторону, будто в чем моя вина. Обидно ему, конечно. С раннего утра сидит, а тут только пришел — и таскаю...

Мне даже совестно стало.

— Не горюй, Еша, день-то еще впереди. И у тебя клюнет.

Только я это сказал, смотрю, Егор поднимается и идет к моей лужице. Я так и застыл. Очнулся, когда Егору уже нечего было бросать в Эною...

Словно ударил меня кто. Подскочил к нему, схватил его за ворот, подтащил к высокому берегу и толкнул в Эною.

— Рыба туда, и ты, гад, за ней ныряй!

Крутая волна подхватила его, понесла вниз. Молотит Егор руками, орет во всю глотку:

— Спаси! Тону-у!

Плавать Егор не умел. Но пока он барахтался, кричал, мне было все равно.

Вдруг он замолк и ушел под воду. «Ведь утонет, утонет...» — тут только дошло до меня. И стало мне страшно. Так страшно, что голова закружилась.

Глянул я вокруг. Хоть бы кто рядом был — никого.

А Егора уже за поворот унесло. Побежал я по берегу вслед. Руки подхватили с одонья сухую жердь.

— Еша! Миленький! Подержись маленько! — кричу не своим голосом.

Не сразу мне удалось подать ему конец жерди. А когда он ухватился, тут я потащил сколько сил было...

На месте одонья развели костер. Пока одежда сушилась, оба молчали.

Обсох Егор, оделся.

— П-прости м-меня, д-дурака, Ан-ндрюша,— говорит заикаясь.— Отловлю я тебе все...

— Ладно уж...— говорю сквозь зубы.— Помалкивай, ежели дурак...

Засобирались домой.

— Рыбу свою возьми.

Егор послушно сходил за своей корзинкой. Дорогой не разговариваем. Дуется друг на друга. Возле моего дома Егор поставил корзинку с рыбой на траву:

— Бери.

— Забирай, забирай. Обойдусь без твоей рыбы...

— Это не моя, Андрюша...

— Куда мне с ней?.. Еще попадет. Я же сегодня лен стерегу...

Иду на полосу к Миرونу. Солнце вон еще где. Высоко. Но уже печет не так жарко. К вечеру дело двигается.

Думаю про Егора. Рассорились мы с ним так некстати. Сегодня у них в доме девичник. Вчера сваты приехали из Сарки. По осени Егорова сестра Полина в ту деревню жить уйдет. К жениху. А сегодня на девичник соберутся взрослые парни, девки. Весело будет. Егор меня еще вчера звал.

Но, видать, не доведется посмотреть теперь-то на это.

И чего я? Из-за какой-то рыбы... Человек чуть не утонул, а я?.. И так мне совестно становится, что приди сейчас Егор, первым бы попросил у него прощения. Нет, не придет, рассорились мы...

К вечеру, когда кончилась моя работа, когда на небе высветились первые бледные звездочки, прибежал Егор. Я даже глазам своим не поверил.

— Смотрю,— говорит,— нет тебя и нет. Айда, Андрюша.

— Куда?

— Как куда? К нам. На девичник.

Положил я ему руку на плечо.

— Еша,— говорю. А дальше не знаю что сказать.— Айда, Еша. Только еще разок у мамки спрошусь.

Пришли мы к Егору. Забрались на печь. Смотрим, что внизу творится. А внизу девки на лавках сидят. Кто вяжет, кто прядет, кто вышивает. Меж собой шушукаются, посмеиваются. Иногда на парней поглядывают. А те в углу в карты режутся. Хохочут, толкают друг друга в бока. Все ждут гармошки, кадрили ждут.

Как всегда, среди девок Санька крутится. Невысокий, шуплый, с красивым лицом. Санька — сын тети Дарьи. На удивление всей деревне Санька легко может справиться не только с любой мужской работой, но и со всякой женской. Ему все одно — что лошадь запрячь, что сканцы сукать¹. Рассказывают, когда Санька еще маленький был, бывало, уйдет куда Дарья, так наказывает ему: «За детишками посматривай, и чтобы к моему приходу полотенце было вышито узорами». Или: «Вот тебе кудель. Чтобы к вечеру нитки были». И старается Санька. А куда денешься? Попробуй, не сделай, с Дарьей шутки плохи. Одним словом, учился парень под сильным напором мамки. И в конце концов даже полюбил эти немужские занятия. Случай, конечно, редкий. Оттого и девки к нему с почетом и уважением.

¹ Сканцы сукать — раскатывать тесто на пироги.

Не всякая из них потягается в своем деле с Санькой. Только и слышно:

— Саня, подь сюда. Нить что-то с веретена все рвется.

— Санечка, а как такой узор вышивается?

И к каждой он подойдет, каждой поможет, каждой улыбнется своей приветливой белозубой улыбкой. От нее Санька и сам так и светится радостью. Не стыдится он своего умения.

Заиграла гармонь. Парни и девки стали собираться на кадриль.

Сергей Долинов подошел к Саньке. Тот в это время с прялкой в руках сидел.

— Прощу со мной на пару, девица.

Саньке не понравилось такое обращение. Он ошетинился:

— Какая я тебе девица?

— А кто ж ты? Ха-ха-ха! Телок, что ль?

Санька встал, положил прялку да как двинет Долинова в грудь. Тот — будто сноп — с ног долой.

Поднимается Долинов и к Саньке. Не успел размахнуться, как опять оказался на полу. На этот раз летел с грохотом. А Сергей этот, надо сказать, был здоровый, драчливый парень. Лежит Долинов, чешет затылок и, будто принял все в шутку, тянет сквозь зубы:

— Да-а... Крепок у тебя, брат, кулак...

А Санька тем временем выбирает себе в напарницы Бойцову Нюру. Самую красивую девушку в деревне. Она так и полетела, как он ее позвал.

Стали они в кадриль и пошли. Да так оба здорово плясали, что лаз не отвести было.

У दूसрой пары переговаривались между собой:

— Видал? Санька-те...

— Одним тычком Серегу опрокинул.

— А с виду-те вроде мухи с себя не сгонит.

— В таком тихоньком, бывает, самый бедовый сидит...

— Мужик Санька. Мужик...

Угомонилась гармошка. Парни и девки стали расходиться. Кое-кто на ночь остался. Тут на полу и улягутся. Уже за соломой пошли, чтобы постелить.

А в открытых дверях, вижу, стоит Санька. Лицо еще разгоряченное. Улыбается каким-то своим мыслям, курит. Из парней он мне больше всех по душе. В голову приходит: «Вот таким бы и мне быть, как Санька...»

Зеваю. Спать хочется. Поворачиваюсь к Егору.

— Слышь, Еша... Ты это... за рыбу-те...

Но молчит Егор. Уткнулся носом в тулуп, спит.

КУРИЛЬЩИК

Раньше я как-то не думал, зачем это мужики курят. Цигарки свертывают, папиросы достают, дымят. Даже Санька и тот курит, а уж на что парень... А вот недавно задумался: какое в том удовольствие? Попробовать бы.

С тех пор стали мне попадаться на глаза отцовы папиросы. То на лавке, то на столе, то на подоконнике. Улучишь минутку, когда никого рядом, достанешь папироску, в руках повертишь, в рот вставишь — ничего особенного. А зажечь страшновато — вдруг что случится.

И вот раз, прихватив из отцовской пачки две папироски, забралась мы с Егором на наш сарай в сено. Посчитали, что укрылись надежно.

Закурили. Полеживаем, потягиваем папироски.

— Мой батька вот так дым делает. Струйкой.

— А мой так, и еще вот так.

— А видал, как Санька колечки пускает?

— Ну-у!.. Так то Санька!

— У него ловко выходит.

— Ну, как?

— Ничего, только в горле шибко першит.

— И в голове мутится. Зараза все же.

— Зар-раза, — закашлялся Егор.

На тот час по какому-то делу подкатил к дому отец. Заметил он дымок, схватил ведро с водой и бросился к сараю. Увидев нас, заорал:

— Вы что ж, бесовы дети, дом спалить порешили?!

Заслышав его шаги, мы с Егором через щель в стене перекатились на улицу и деру в лес. Летели как наскипидаренные.

Домой я в тот вечер вернулся совсем поздно. Как ни крути, а вина жжет, так что в конце концов решил: чем мучаться, лучше уж будь что будет...

Не успел через порог переступить, как крепкая рука отца хватить меня за волосы. Отец, видать, давно дожидался этой минуты. Ожидание, по всему, озлило его до крайности.

— Шкуру спущу!

И по моей спине пустился разгуливать толстый поясной ремень.

— Будешь помнить, как с огнем в сене полеживать! Я ревел, прося пощады. Но отец был неумолим.

Младшие мои братья и сестры, забравшись с головой под одеяло, напуганные моим ревом, всхлипывали и постанывали. Мать же, когда отец кого-то из нас наказывал, не смела вступиться.

Наконец отец притомился. Он бросил в сторону ремень и пошел к умывальнику. Долго мыл руки с мылом, верно, считая, что делал грязную работу.

Все тело горело огнем и ныло так сильно, что казалось, с меня и впрямь содрали кожу.

Все уже спали.

Неожиданно я почувствовал горячей щекой ласковое прикосновение маминой руки. На глаза снова навернулись слезы, а из груди вырвался вздох облегчения. С ним пропал тяжелый горький ком, стоявший до того в горле.

— Не держи обиды на отца, сынок,— шепнула она.— Ен правый был. Беда его, что со своим характером не может языком все высказать. Все силой норовит, силой...

Мне показалось, что добрая тень маминого лица, скло-

нившегося надо мной, может вдруг исчезнуть, и я сильно прижал к щеке ее пальцы.

— Мам-м...— с трудом разжалась мои губы.— Расскажи сказку.

— Сказку? Какую ж тебе сказку... Хочешь мою?.. Есть у меня такая.

— Ага.

— Ну, слухай. Было у Харагинского Троши три сына. Когда сыны у него выросли, Троша старшего Модю, определил в пастухи. Среднего, Кузю отправил лес валить. А младшего, Орешу, пустил по миру. А был Ореша душой прост, в плечах широк, на лицо пригож. Бросил ен торбу за плечо и пустился в дорогу.

Приходит ен в Лаврово и нанимается батрачить за одни харчи к богатой вдове. А вдова та была шибко скупа. Работать велит много, а кормит плохо. Уработался Ореша у той бабы так, что на солнце через рубашку ребра счесть можно. «Помру,— думает,— ежли не сбегу от нее». Откланялся ен однажды утром еще до первых петухов, говорит вдове на прощанье: «Попомните, сударыня-барыня. Как аукнется, так и откликнется».

Идет ен по дороге, от ветра шатается. Красное солнышко не мило, белый свет в тягость. К вечеру кое-как дошел до Пашозера. А ходу-те дотуда было каких-то верст двенадцать.

Присел отдохнуть на околице да и заснул. Проснулся — ночь прошла, красное солнышко смотрит с небушка. Ветер гуляет по зеленой траве. Листочки шелестят на деревьях и кусточках. Птички всюду поют. А Ореше тошно. Лавровская хозяйка даже хлеба на дорогу не дала. Оглянулся Ореша. Видит: дом с чердаком высокий стоит. Только Ореша кое-как на ноги поднялся, подходит к нему мужик. «Откуда да куды дорогу торишь, да чей ты?» — спрашивает. «Куды глаза глядят, туды и дорогу торю,— отвечает Ореша.— А сам я из Харагинич, младший Трошин сын». — «Такой мне и нужен,— говорит мужик.— Работа у меня есть. Не тяжелая,

стадо пасти. Плата такая: кормлю, пою, одеваю. Работа до Покрова. Но с уговором: хорошо попасешь — денег еще десятку дам. Хоть один ягненок падет — в чем мать родила отправлю. Как?» — «Я согласный», — обрадовался Ореша.

Пасет стадо Ореша. А стадо у мужика большое — коровы, лошади, овцы. Пасет хорошо, потерь нету. Дело к Покрову идет. Радуетя Ореша: денег десятку получит. Да не знал он по простоте душевной своего хозяина. Хитер тот был. Видит хозяин, неделя до расчета остается. Надумал: утоплю ягненка в реке.

В канун Покрова хозяин незаметно выбрал в стаде самого малого, хиленького ягненка да сунул мордой в воду.

Ореша мой такого подвоха не ожидал, смело гонит стадо домой. Бывало каждый день считал животных по головам, а тут не стал. На радостях, видать.

Пригоняет стадо ко двору и говорит хозяину: «Ну, хозяин, завтра Покров. Запри на дворе скотину, а мне-ка плату — таков уговор».

Хозяин любезно так отвечает ему: «Пас ты справно, слов нет. Плату обещанную заслужил, но прежде хотел бы я счесть животинушек, все ли у тебя ладно». — «Пожалуй, хозяин, — смело отвечает Ореша, — скот на виду. Голдва к голове, хвост к хвосту, рыло к рылу — считай».

Сосчитал хозяин лошадей, коров, телят, овец и спрашивает, глаза сузив: «А ягненок вон от той овцы?» — «Тута, в стаде должен быть». — «Укажь!» Ореша туды-сюды, скок-прыг. Ягненка как ветром сдуло. «Уговор дороже денег. Найдешь ягненка — плату сполна получишь. Мне чтоб живого ягненка привел».

Побежал Ореша в лес. Смотрит: лежит ягненок на берегу речки мертвый.

Приходит парень домой, ревет. «Скидывай мою одежду», — спокойненько говорит хозяин. Делать нечего, скидывает одежду Ореша. «Ну, хозяин, — говорит мужику, — помни: как аукнется, так и откликнется...»

Идет Ореша, думает: «Что мне-ка, всю жизнь так батра-

чить ни за что ни про что? Лучше я какому ремеслу обучусь».

Пришел ен в Тихвин. Тама нанялся в работники к одному портному. Три года у него отработал. Отъелся, приоделся, скопил деньжонок и решил воротиться домой. А заодно и рассчитаться со своими обидчиками.

Идет ен домой. Да не с пустыми руками. На деньжонки купил Ореша швейную машинку, ножницы, иголки, наперсток. Все это у него в мешке за спиной. Идет и всю дорогу думает, как злых хозяев наказать.

На полдороге от Пяльи до Пашозера слышит ен, в стороне кто-то воет. «Верно, человек в беду попал»,— думает И бежит в лес. А тама, оказывается, волк в кляпцы попал «Вот,— радуется Ореша,— кстати». Снимает с пояса ремень берет волка на повод.

Подходит к дому хозяина, у которого стадо пас, и глазам своим не верит: двор горит. Привязал ен волка к забору сам же — будить хозяев и вместе с ними пожар тушить. А когда пожар потушили, незаметно отошел в сторонку, отвязал волка и дальше. «Ладно,— думает,— этого хозяина и без меня бог наказал. Лучше я через волка со вдовой рассчитаюсь. Затолкну его, серого, во двор, пускай скотину дерет».

Подходит Ореша к вдовьему дому, слышит: коровы мычат, овцы блеют. «Сейчас-те я вас, родненьких, успокою»,— думает.

Открывает ворота, а оттуда свора волков выскакивает. Ен своего отвязывает. «Подь и ты с ними»,— говорит. А сам давай будить хозяйку: «Вставай! У тебя на дворе волки побывали!»

Той же ночью ен домой воротился. Так с тех пор и портняжничает дома. Все, сказке конец.

Я был удивлен концом этой сказки.

— Мам, а что ж это? Выходит, Ореша так и не рассчитался со своими хозяевами?

— Нет.

— А почему так?

— Потому, сынок, что ежели люди на каждое зло будут отвечать злом, тогда ено не переведется на белом свете. Спи давай.

КУПЕЛЬ

— Сегодня в школу не пойдешь,— сказала мама, вздохнув.— Придется тебе за сеном ехать со мной.

Что и говорить, слова эти пришлись мне не по душе.

— За сеном...— захныкал я.

— Надо, сынок. Учишься ты справно. Может, и ничего, ежели денек пропустишь,— в голосе мамы звучала виноватость, но я и сам понимал, что надо.

Зима в том году наступила вдруг. Стояла, стояла слякотная теплая погодка, и дня три тому, к вечеру, небо враз прояснилось, захолодало, да так круто, что все болотины и озера затянулись крепким ледком. То было ни пройти ни проехать, а тут — плотные ровные дороги во все стороны по первым снегам.

Оголодавшая скотина голосила на дворах, радуясь этой желанной перемене погоды.

Стоял крепкий морозец. Над озером и в низинах клубился густой серый туман. Такой плотный, что дышать было трудно. Правда, туман мало-помалу начал редеть. Карий (наконец-то у нас была своя лошадь) осторожно спустился под гору, попробовал копытом лед, освоился и, отфыркиваясь, побежал рысцей. Только слышно было, как цокали подкованные копыта и временами похрястывал лед.

Сквозь туман проглянуло солнце.

— С сеном будем,— мама повеселела, радуясь быстрой езде, солнышку.— Ночесь, сынок,— рассмеялась она,— я чудной сон видела. Вроде мы с тобой залезли мыться в печку. Ну, ты махонький еще. Сидим это, полоскаемся. Не торопимся. Потом как будто я одела тебя. Уж какая простор-

ная печь была. И вот уже выходить нам пора, а печка-те оказалась глухой. Стены кругом толстые. Я стучусь, мол, отворяйте. Ни слуху ни духу. Испугалась я. «Ну, сын, мы с тобой умрем здесь». Только я так сказала тебе, как слышу голос отца: «Эй, вы! Живы ли тама?» — спрашивает. Я в слезы. «Васенька, милый, выпусти нас отсюда» прошу. И слышим: стук-стук, стук-стук в стенку. Тут разом стена и отвалилась. Сперва ты, а потом и я — выходим оттуда...

Мама перестала смеяться. Посмотрела на меня. Брови и ресницы инеем играют, а глаза грустные.

— Вот, сынок. Не иначе как к печали какой...

— Да брось, мам! Мало ли чего приснится во сне. Ерунда это все!

— А и правда, сынок, — махнув рукой, весело откликнулась она.

Мама еще долго улыбалась каким-то своим мыслям, прикрыв губы шубницей.

Неожиданно под нами треснул лед. Раз, другой. Легкий звон разбежался по сторонам.

— Объедем. На берег, мама...

— Не пугайся. По леду-те, сынок, короче. Даст бог, дважды прокатимся.

— Так тут же полая вода, мама! — кричу.

— Да что ты, сынок? Где полая?.. В такой мороз да разве же полынья может быть? Там, поди, под низом-те, уж и второй лед есть. Не впервой мне, Андрюша.

Снова раздался треск. Глухо под нами ухнул лед, и мы оказались в воде.

Оба барахтаемся. Лошадь разом ушла под лед, будто ее с нами и не было.

Я был одет в полушубок, в валенки, на руках — шубницы, на голове — заячья шапка. На маме тоже одежда легкая. Не сразу намокла.

Я быстро выбрался на лед. Но мама, как ни старалась, не могла. Ледяная кромка все время под ней обламывалась

Я выкарабкаюсь, протяну ей руку, она схватится за нее, и опять оказывается в воде.

Одежда намочка, и с каждым разом все трудней было мне выбираться из полыньи.

— Сынок, беги в деревню! На помощь зови!

— Мама, а ты? — плачу.

— Хочешь, чтобы я жива была, не теряй время! Беги!

Бегу, плачу, оглядываюсь на полынью: виден ли еще мамин серый платок? Виден. Я дальше. Раз оглянулся — нет платка. Ноги подломились, так и сел на снег. Реву. Не сразу и сообразил, что это я далеко отбежал, оттого и платка не вижу. А как понял, подхватился и опять бежать.

До деревни версты три было. Пока бежал, одежда на мне колом стала, не гнется. Уже и идти трудно. На счастье, не доходя до деревни встретил мужиков наших на лошадях. Дядю Герасима, Саньку и дядю Игната.

— Мама, — кричу, — в полынье там!.. Провалились мы...

Мужики погнали лошадей.

Пришел домой. Слова сказать не могу. Все и так всё поняли. Отца не было. Остальные, кто дома случился, в рев. Обступили меня и давай колотить чем попало. Иначе одежду не снять — не гнется.

Переоделся я, сел у окна, смотрю на озеро, на дорогу. Самого трясет, и слезы льются сами собой.

Через какое-то время привезли маму. Бледную как снег, в беспамятстве.

— Когда мы подъехали к ей, ена на локтях висела, — сказал дядя Герасим. — Думали, все, заоченела.

Маму натерли водкой, напоили горячим чаем с водкой и уложили на теплую печь.

Мама заболела. Страшно убивалась она по Карему. Видно, сказалося и это.

Вскоре приехала из Мецоймяги старшая сестра отца, тетя Настя. Дом свой она оставила на дочерей, чтобы какое-то время побыть у нас, помочь бабушке.

Вечерами тетя Настя садилась к маме на кровать и рас-

сказывала о своей жизни. Я невольно прислушивался к ее живому молодому голосу. Мне не верилось, что она — эта женщина с темным морщинистым лицом — дочь бабушки Анисьи. По виду она казалась мне старушкой. Но голос, каким она говорила, но тон! В них не было горечи уставшего человека. Она не жаловалась на свою жизнь. Наоборот, как бы посмеивалась над выпавшими на ее долю бедами. Она словно удивлялась себе и так естественно, так просто-душно гордилась собой и тем, что довелось вынести и о чем она несколько не жалела.

Мама держит в своих горячих слабых ладонях руку тети Насти и внимательно слушает.

— Ой, Олена, дальше-те. Ну, вышла за Степана. Стала я десятой в семье старика Матвея. Долго привыкала к этому семейству. Боялась досыта есть, лишнее сказать. Хоть жили ены куда лучше, чем у нас дома, я бы бросила все и убежала бы обратно. Да, сама знаешь, куда побежишь, коли выдали. Живи! Живу. Бывало, стираешь совсем заношенное из грубого точива белье. Пропустишь на какой рузине смоляное пятнышко, ена, свекровь, подойдет, перероет все роботы и, ежели найдет с пропущенной грязинкой, возьмет в руки эту одежду да со всей силой сунет тебе в нос. Ну чего? Обидно станет, аж до сердца. Отвернешься в угол, выльешь слезы в передник, высморкаешься и дальше... живешь. Когда Степан был дома, не так обижали. На то время себе и мне давали передышку. А ен дома бывал совсем редко. Все по людям шатался. Мужик ен, сама знаешь, мастеровой у меня. По заработкам ходил. То дом кому построят, то тесу напилит, то печку сложит. Мужик хорош на любое дело гош. Ну, уйдет ен, и опять: за что ни возьмешься — скотину ли управлять, молотить ли, зерно ли молоть, сканцы ли су-кать — все слышишь: «Такой простой работы не сработать, а еще замуж вылезла». Да что ты будешь делать?! Другой раз так и вертится на языке: «Пропадите вы пропадом со своим сыном!» С языка, правда, не слетало. Ну да бог с ей, со свекровью!

Как-то вернулся Степан со сплаву. Месяц там пробыл. Вернулся и не узнает меня. «Ты ли это?» — спрашивает. Говорить ничего не стала, думаю, ежели не слепой, так и сам увидит. А и впрямь, Олена, смотреть-те не на что. За тот месяц я совсем опала с себя. Высыхла, лицо сузилось, посинело, глаза в лоб ушли, ноги хворостинками стали, а руки грабли граблями — тонкие и длинные. Смотрел, смотрел ен на меня, спрашивает: «Что с тобой? Здорова ли?» Бросилась ему на шею, заревела пуще прежнего, говорю: «Не могу я боле здесь. Али веди куды отсюда, али я на себя руки наложу. Боле не выдержу ни единой упряжки». Вот дура-те! Ну, ен оттолкнул меня, плюнул в широкую ладонь да как опояшет меня кулаком по уху. Веришь, я как былинка пролетела по избе. Так собою и двери настезь. Очнулась, вижу: лежу на навозной куче, вся мокрая от крови. Поднялась на ноги, заткнула ладонью нос да пустилась сломя голову под гору. «Брошусь в озеро», — думаю. Да, видать, каким-то чудом разглядел Степан. Оказался рядом. Подвел к озеру, вымыл мне лицо, сказал строго: «Иди в избу и боле не дурри». Я как угорелая поплелась за ним. Мне уж, Олена, все тогда было равно: хоть режь, хоть стреляй.

Зашли мы в дом. Степан стал посреди и говорит: «Коли мы здесь лишние, мешать не будем». Сразу в избе сделалось тихо-тихо. Будто кто умер. Первой свекровка опомнилась: «Ежели ты на эту сойку отца с матерью сменял, — кричит, — катись на все четыре стороны! Плакаться не будем». И старик Матвей туда же: «Скатертью дорога!»

Ушли мы со Степой из его дома майским деньком. Узелок в руках, а в приданое — плотницкий топор да десятина земли.

Неделю пожили на стороне. А затем переехали через озеро, поднялись на гору, расчистили от леса земли полосу, а через месяц жили уже в своем доме. Видать, Олена, нет худа без добра.

Места мне те очень приглянулись. Баская горка, под ней озеро. Вокруг бор сосновый. Поначалу страшновато,

ведь одни мы были. По ночам звери даже к дому подходили. Бывало, лиса в сарай за курочкой заберется. А волков-те! А раз зимой медведь берлогу себе в риге устроил. Пошел Степан за каким-то делом туда, а ен там себе полеживает. Вот ведь!

Но вскорости рядом с нашим поднялся дом Тимохи — Степанова брата. Потом еще два брата переехали, отстроились. Потом и сам старик Матвей перебрался. Деревня целая выросла. Назвали Мецоймяги¹. И верно. В таких лесах раньше только мошники жили. Теперь мы. Да еще деток копим. Сказать, Олена, кому, так не поверят. Как год, так ребенок. А то и два разом,— тетя Настя звонко рассмеялась.— Откуда да что бралось? Не пойму. Такая я была сухая, а детей рожала тяжеленьких. И все девок, и все девок! Мальчиков реже. Мне еще и двадцати пяти не было, а у меня их уже восьмеро. Верно, и Степан в этом деле был помощник хороший!.. Не пожалуюсь. Лихой мужик. Да что об этом?! Об нем иное говорить надо. А что иное-те? А иное — ен без дела сидеть не мог. В другой раз, коли дома, проснется с солнышком и молчком, молчком в лес. Покамест я пироги пеку да по хозяйству хлопочу, смотришь, несет за плечами осиновую лодку.

— Неужли за одно утро лодку выдолбит? — поражается мама.

— С этого местечка не сойти.

— Да и ведь лодка-те сырая, тяжелая. Принести как? Одному-те?

— Ничего не скажу. Другому мужику и корыта не принести. Да ен, Степан, лодку делал такую, что у ней стенка с яичную скорлупку толщиной. Да и сила в мужике была. Иножды шлепнет тебя шутя ладонью по спине, а кажется, ровно бревном ударил. После того кости неделю болят. Так ведь шутя! И с людьми был степенный. Бывало, в праздник где-то завяжется драка. Ен подойдет, возьмет петушков

¹ Мецоймяги — Глухаринная Гора.

за загровки, шлепнет друг об дружку и оттолкнет по сторонам. После того уж не до драки тем. А ежели драка большая, подойдет, рявкнет медведем: «А ну, пацанье, разойдись, пока не раскидал!» Драки как не бывало. А ен усмехнется в усы и идет дальше своей дорогой. Вот какой сатана мне попавши. С таким-то мужиком быстро нам новая изба тесной стала. Таковую оравушку прокорми!.. Потому Степан чаще все на отхожих заработках. Зимой на лесозаготовках в станях жил. Домой навевывался на воскресенье какое. Весной бурлачил. Начнет с верхов Энои и до Доможирова идет с хвостом¹. Потом вернется на какую-то неделю лоскутки свои посеять и, считай, опять до сенокоса уберется куда-ни. На жатву не приходил — моя забота. А забот хватало. Бывало, в доме по три люльки в один год висело. Разом заплачут, так не знаешь к которой бежать. Голоса громкие. Зазвенят — за околицей слышно. Летом уж до того туго приходилось, до того туго! Зимой-те что?! Вся работа, почитай, на дому. А летом — то сенокос, то жатва. Приходилось детей с собой брать, не оставишь ведь. Вешаешь на дерево балахон, повалишь маленьких туда, запихаешь в рот по соске из черного хлеба с солью, а сама работаешь. На плач их в то время не смотришь. Пушай орут! Звонче голоса будут... Вроде, скажешь, куда мне столько их? А я все рожала. Ой, Олена! Ой, Олена! — смеялась тетя Настя. — Это что! Расскажу я тебе, как четверых рожала.

— Господь с тобой, Настя!

— Верно. А ведь и смех и грех!.. Вот послушай. В ту пору Степан дома оказался. Да, так. Ен дом перестраивал. Так вот. Помню, стряпаю я (как раз случилось это в воскресенье под осень). Уж на полях, помню, хлеб прибран был. Одна молотьба заедала. Так на тот случай, кажись, и овин не был зачинен. А может, и был. Так и топился. Одним словом, нечего было молотить. Как сейчас помню, я стряпаю. Степан в избе покуривает. Тяну это я лопатой противень

¹ Идти с хвостом — сопровождать молевой сплав.

с калитками из печи, и в ту самую минуту как ударит меня чем-то по пояснице. И потом давай тянуть из меня, ровно до ветру запросилось. Я бросила противень на ошосток да на двор. Сижу это я, барыня, а толку никакого. А ено все тянет и тянет. И живот схватывает, ровно приспело рожать. А самой до родов еще с месяц времени, ежли не боле. Думаю, неужто и в самом деле болезнь какая пристала? «Ай, батюшки!» — крещусь и плачу. И согнуться и выпрямиться не могу. Как будто аршин проглотила.

Вернулась на карачках в избу, кое-как с божьей помощью отстряпалась. Покормила свою оравушку. Думаю, потом приберу. Ладно. Села я это, кумушка, сижу, а самой не сидится. Думаю, утром я будто двухведерную корзину сдвинула. Степана зову, ен, не говоря ни словечка, подходит. Потискал своими ручищами меня, лежачу на полу, даванул как следует. Хрустнуло что-то. «Ну, лежи малость», — говорит. Да где там. Меня еще пуше того забрало. А когда начала кропаться на ноги, так ка-ак хватит, хватит поперек живота. Будто ножом кто резанул тупым. «Ай, ай, батюшки!» — голошу. Не смертушка прихватила ли? — задумываюсь. А саму трясет, ровно лихорадка прошибает. «Степан, верно, я заболела», — говорю. «Ужель?» — спрашивает. «Сходи-ка, принеси со двора мне охапку соломки да брось в подполье», — прошу. «Что? Рожать приперло?» — догадывается. И хохочет. «У меня смерть в глазах, а тебе до смеху еще», — стыжу его. А у самой с глаз так и сыплются, так и сыплются слезы градом. «Не реви», — говорит.

Принес ен соломки, в яме картофельной постелил. Я кафтанешко рваненький с собой прихватила, ковшик воды холодненькой. Тряпиц кой-каких, что под руку попало, да, помню, еще ножницы. И опускаюсь в подпол.

«Степан, сиди дома, — прошу. — Мало ли что, так на месте будешь». Молчит. Крутит сигарку. Задымил, чувствую. Мне его курево поперек горла, затошнило меня. «Степан, брось кадило, — прошу. — Ради бога, покамест не околела». Ворчит что-то себе под нос, слышу.

А у самой в животе кругами все. Крутит-вертит. Думаю, еще маленько, и разорвет все прахом. Обняла я столб, что матицу подпирает, чтоб не упасть, и звезды у меня из глаз так и посыпались огоньками.

Полденька меня прокрутило. Вся вспотела, как в воде каталась. Уж к вечеру солнышко завернуло, как с меня что-то почало сползать книзу. Легла я на спину, развернула пошире свои оглобли. Ой, батюшки! Чувствую, вывалилось что-то. Гляжу, а там комочек лежит, попискивает. Поняла: родила. Ну, слава богу, крещу глаза, радуюсь.

Режу я пупочек, завязываю ребеночка в тряпицу и зову Степана. «На,— говорю,— родила». Ен молча берет у меня ребеночка, ложит на печь.

Через время какое снова как схватит у поясницы. Чувствую, вроде опять чтое-те падает. Смотрю, снова ребеночек. То же самое проделываю. Зову Степана, передаю ему. Ен опять молча ложит на печь ребенка. Третьего ен взял у меня без звука. А вот когда я в четвертый раз позвала, ен боле не выдержал. «Ты чего тама, сдурела, что ль!» — как заорет.

— Господи! — прошептала мама сквозь тихий смех.

— Ой, что ты! — поддержала ее тетя Настя. — Ну, слышу, хлопнул дверями мой Степан. Пришлось самой поднимать ребенка, пушинку ту, кровинушку свою.

Легла я рядышком с ними на печку и плачу с горя. Куда, думаю, нарожала горемычных?

А Степан с горя да со страху напился тогда до бесиков. Приполз на четвереньках домой да на рундуке возле нас и проспал. А утром, как отрезвел-те, пожалел нас. Сам печку истопил, ребят накормил, скотину управил. А уж к обеду я и сама поднялась. Только что уж... ребятишки, каких родила, через денек один за другим все и померли. В одном гробике теперь. Лежат в земле-кормилице... Ох, Оленушка, милая... Взять-та, жизнь наша — купель ледяная. А все, знаешь, охота жить. Да и как же иначе?! Ежли у нас такой охоты не будет, где ж тады ребятишкам нашим силенок взять, чтобы раньше старости себя не избыть.

Уехала тетя Настя.

Мама ее часто вспоминала. Вспомнит и все на ноги поворачивается встать. Но болела она еще долго. Больше года.

МЕСТЬ

Залютовали крещенские холода. Пришла пора морозить тараканов. Кто к кому перебирается на то время. Мы — к тете Дарье и дяде Игнату Зориним. Прихватываем с собой кой-какие пожитки, запечных усачей оставляем в доме одних. Недолго им теперь шушукаться по щелям.

Я волоку на себе матрас. И хоть иду с грузом, снег подной похрустывает мягко. А под ногами отца — он чуть впереди — хрустит громко, с визгом. Будто давят отцовы пятки битое стекло. Отец несет на руках маму. Она едва обняла его за шею. Видно, ей неловко, что ее несут.

— Васенька,— смущенно говорит она,— все ж тяжело тебе...

Отец не отвечает.

— Хоть бы прок от меня какой был...

— Помалкивай.

— Взрослую-те бабу тащить...

— Вот дуреха. Мне, может, ено приятно.

— Дак...— мама закрывает лицо рукой, от стыда не находя слов.

— Дак, дак...— передразнивает отец.— Вот кину сейчас в сугроб, мерзни, как тараканиха.

— И верно, Вася, кидай. Куда ж я тебе такая инвалидка...

— Достукаешься у меня. И впрямь ведь кину.

Мама замолкает, уткнувшись лицом в овчинный ворот отцовского полушубка.

Изба тети Дарьи полна народу. Весело, шумно.

Спим вповалку на полу. Матрасы от стены до стены — в два ряда. На печи — не повернуться. С вечера и в печь

забираются — самые малые и самые старые. Теснота, конечно, зато нам, ребятишкам, раздолье. И поиграть и побаловаться вволю можно. В такой неразберихе старшим не до нас.

Славная жизнь! Мы у тети Дарьи как в гостях. Потому она встает еще ночью, ни свет ни заря. Заводит ведерный горшок теста из овсяной муки и начинает печь блины.

Чудный запах расходится по избе.

Любо смотреть, как тетя Дарья ловко выкидывает блины с горячей сковороды на стол. И сковорода у нее большущая. И блин получается такой, что малый человек от одного сыт бывает. Да к тому же блины у тети Дарьи не голяком идут, а с холодными волнушками, приправленными постным маслом из льняного семени. А вкусно как! Язык проглотишь. Правда, бабушка и мама делают не хуже. Придет черед тете Дарье морозить тараканов, тогда уж мы в долгу не останемся. Жаль только, мука овсяная у нас редко водится...

В потемках, словно на аппетитный запах блинов, приходит Тимофей Долинов. Он подрядился тачать сапоги семейству тети Дарьи. Ему как работнику подносят первому. После него взрослые едят. А уж мы, ребятня, в последнюю очередь. Благо и в школу спешить не надо.

Старшие расходятся по делам. Остаемся в доме мы, тетя Дарья, бабушка с мамой и Тимофей Долинов.

Сапожник прилаживается с работой на лавке у окошка. Завернувшись в кафтаны, мы устраиваемся гурьбой вокруг него. К тому времени и Егор приходит.

Сидим, он — по одну руку дяди Тимофея, я — по другую.

Готовимся сказку слушать или побывальщину. Дядя Тимофей много их в голове держит, правда, рассказывает по настроению. Но сегодня оно у него хорошее. Еще бы! Рядом, только руку протяни, сковорода с блинами. Это тетя Дарья поставила сапожнику для перекусов.

— Значит, так, — начинает Долинов, — на меня не наваливаться, свет не застить, слухать — не перебивать. Уговорились?

- Уговорились.
- Расскажу я-ко вам про Антипа.
- Про какого?
- Про Кукушкина?

— Может, и про него. А может, и про другого. Не в том соль. Ну, словом, пришла пора Антипу картошку копать, а у него беда случилась — яма рухнула. Встает ен поутру, будит сыновей: «Ребята, яма рухнула. Куда картошку девать будем? Яму-те исправлять надо...» А те и ухом не ведут, дрыхнут, как медведи зимой...

Тянет дратвину дядя Тимофей то в одну сторону, то в другую. Поневоле тычет кулаком то меня в бок, то Егора. Мы чуть отодвинемся, да где там! Заслушаешься и опять подставляешь бок под кулак.

— Плюнул с досады Антип,— рассказывает сапожник.— Взял лопату, пошел один. Старается. Рубашка уж на нем взмокла. Проходит мимо сосед Иван «Один копаешь?» — спрашивает... Андрюшка! Черт тебя дери, куда лезешь?!

Я в сторону.

— Прости, дядя Тимофей.

— Мешаешь же!.. Ну вот. «Один»,— отвечает Антип.— «А сыны где же?» — «Где же им быть? Спят».— «Умница! — треплет Иван по плечу Антипа.— Молодые еще, пускай поспят». Только отошел Иван... Егор, бесенок! Опять на плечо навалился! Вот я тебе!..

Егор даже вздрогнул от неожиданности.

— Да я это...

— Это, это... Смотри у меня!

— Дальше-те что, дядя Тимофей?

— Дальше? А вот что. Только отошел Иван, подходит кум Аким. Покурил за компанию, между прочим заметил: «Один стараешься?» — «Да»,— отвечает со слезой Антип. «А сынки чем заняты?» — «Дрыхнут».— «Ну и дурак! — говорит Аким.— Чтоб заставить их работать». Почесал Антип затылок, задумался: который же из них прав? А вы как на то думаете, ребята?

- Иван!
- Нет, Аким!
- Аким, Аким прав!

Пока мы спорили, дядя Тимофей завернул незаметно в блин тяжелую чугунную ложку из сапожного инструмента и хрясть! хрясть! — нас с Егором по лбу. Так, что искры из глаз посыпались.

- Ой! Ой! — заголосили мы разом.
- Чего там у вас? — услышала тетя Дарья.
- Ен блином нас ударил, — отвечает Егор.
- Кто ударил?
- Дядя Тимофей.
- Блином, не молотком — не убил.

Остальные ребята смеются, а нам не до смеха. И дядя Тимофей молчит. Сощурил глаза в щелки, с такой злостью смотрит на нас, что я и про боль забыл. Думаю: с чего это он?

- За что? — спрашиваю.
- За что?.. — отвечает тихо, не сразу. — А за силки...
- За какие силки, дядя Тимофей?
- Что? Блином и память отшибло. За мои, Андрюша, силки... За мои...

Я вспомнил.

Боронили мы с Егором в Горелом бору на суках¹ под рожь. По весне дело было. Пустили лошадей, а сами перекусить сели. Только разложились на травке под березой, слышим, сойка заплакала. Громко так.

— Сходим, посмотрим? — предлагает Егор. — Что там с ней?

Подходим. Сойки — птицы осторожные, близко не подпускают, а тут видим: не улетает, бьется на одном месте и кричит.

¹ Боронить на суках. — В начале лета, готовя лесистые участки земли под пахоту, рубят деревья. Когда завянет лист, деревья сжигают. Затем пашут и боронят по еще тлеющим сучкам.

— Смотри, Егор. Птица-те в петёлке!

— Верно! Давай отпустим? Может, у нее детки малые.

— Давай.

Не так-то просто оказалось это сделать. Сойка прямо в лицо бросается. Егора в руку долбанула. Тут я стянул с себя рубашку и накрыл ее. Егор тем временем снял с ноги петёлку. Отпустили. Она отлетела немного, села на березовый сук и глядит на нас оторопелыми глазами. То ли опомниться никак не может, то ли спасителей своих запомнить старается. Посидела немного и в лес.

— А давай мы этот силок сорвем,— говорит Егор.— Ведь еще какая попадет, жалко все же.

— Давай.

Разобрали порожек. Еловую вицу, к которой силок вяжут, выбросили. Сам силок порезали.

— Тут, верно, еще есть силки. Где-нибудь рядом,— говорю.— Пойщем?

— Давай,— согласился Егор охотно.

В тот день мы много силков изорвали. Из одного выпустили большущего мошника. Правда, не мы его выпустили. Глухарь, увидев нас, как рванется — силок сам и лопнул.

С тех пор заразились мы этим делом так, что затем только и ходили в лес, что выискивали силки. Чем это может кончиться, знали, но особо не задумывались. Целую осень мы с Егором орудовали, и все с рук сходило. «Ну и хитрецы, ну и ловкачи»,— думали про себя. А в деревне гадали: кто б это мог? Обещали тому руки оторвать. Но угрозы нас только больше еще распаляли. «Прежде чем руки отрывать, поймать надо...» — посмеивались мы.

И вот однажды заходит к нам в избу Долинов Тимофей. Встает у порога, кричит:

— Где твой поганец, Василий! Сынок твой! Я его драть пришел!

А я на печке сижу. Понял сразу, зачем Долинов пожаловал, шелохнуться боюсь.

— Который поганец? У меня их трое,— отвечает отец.

— Старший твой! Андрюшка!

— А в чем дело, Тимофей Петрович?

— Ены с Федькиным Егором силки мои травили.

— Верно ли говоришь, Тимофей Петрович?

— Чтоб мне с места не сойти! Жена за клюквой ходила, видела шельмецов, как ены...

Говоря это, Долинов шарил глазами по дому и углядел-таки меня. Бросился с кулаками.

— Убью, гад!

Но отец успел преградить ему дорогу.

— Дозволь, Тимофей, мне самому с ним разобраться.

— Ну так бей его! Не то я сам!..

Отец вдруг улыбнулся.

— У меня сейчас охоты нет драть его.

— Охоты нет!..— взревел Долинов. Хватает с вешалки у печи кнут, сует в руки отца.— Дери, говорю, сейчас! На моих глазах!

— Я тебе сказал, что ен не уйдет от битья. Свое получит.

— А я требую!..

Отец побледнел. Схватил Долинова под руку, подтащил к порогу и вытолкнул из избы со словами:

— Вернешься — ноги пообломаю!

В сенях Долинов еще покричал, покричал и ушел.

Отец молча прошелся по избе. Сел на лавку, сигарку сворачивает, хмурится. Душа моя, конечно, в самые пятки ушла.

— Ты это делал? — спросил наконец.

— А чего ен... птичек мучает... Убивал бы из ружья, коли надо...

Отец встал с лавки, подошел к печи.

— Верно, сынок. Ружье есть — бей из ружья, раз ты охотник.— Таких слов я не ожидал. Показалось мне, что ослышался. Но отец продолжал: — Я и сам иножды делал такое. Ломай и дальше. Но смотри... чтоб не видели. И знай: такого забыть не забудут и простить не простят.

ДВА РЫБАКА

Не думал я, что тот взгляд прищуренных глаз Долинова, тогда зимой у тети Дарьи, мне еще вспомнится.

Приближался Спас. Отмечали его всегда в нашей деревне. Почти со всей широкой вепсской округи стекался народ. Гостей приходило до тысячи, а дворов в деревне не более двадцати пяти. И все два праздничных дня в избах, конечно, было не протолкнуться. И всех надо было приветить, угостить как следует. Чуть ли не целый год готовились хозяева к встрече гостей, а разорялись за эти два дня подчистую. Ведь, как говорила мама «нужно было такой оравушке корочку с мякишкой».

Как-то накануне отец мне сказал:

— Встретил я тут Никифора сарского. Поговорили. Звал ен тебя с собой на рыбалку. На Сарозеро. Сходи, принесешь рыбки к празднику.

От радости я не знал куда деваться. Про рыбацкую удачливость сарского Никифора говорилось много. Да и сам я видел в прошлом году своими глазами, как он в омутке возле дома голыми руками из-под межи наловил целую ведерную корзину форелей. И вот он зовет меня с ним порыбачить. Всякий мальчишка в Нюрговичах позавидовал бы мне. До самого вечера того дня мне наяву мерещилось, как я вытаскиваю огромных рыбин.

Утром, еще до света, я поднялся, накопал банку червей, все посвежее, выпил стакан молока с краюхой хлеба и побежал в Сарку.

Дядя Никифор меня ждал. Наловили мы с ним пескарей, сели в лодку, добрались до глубокой мели, готовим удочки.

— Ты, малец, лови на червяка. На пескаря может рыба крупная взять, а ты еще в кости хлипкой. Упустишь, будешь потом только плакаться.

— Ладно, дядя Никифор,— отвечаю. А сам рассуждаю про себя: раз вместе ловим, так потом все одно поделим пополам. Такой уж рыбацкий закон.

Забросили удочки.

Не успел я усесться как следует, мой напарник тащит огромного окуня. Потом второго. Потом шуку фунтов на семь. И снова окуней. Да таких крупных. У меня же — ничего. Тоскливо мне стало.

— Дядя Никифор, а можно мне тоже попробовать на пескаря?

На лице дяди Никифора шевельнулся большой рыхлый и угреватый нос.

— Гм,— хмыкнул он.— Да пескарей-те у нас ведь мало. Попусту только потратишь.

— Хоть попробовать, дядя Никифор...

— Связался я с тобой на свою голову,— сказал и бросил к моим ногам мелкого дохлого пескарика.

Вытащил на него я окуня.

— Видал, дядя Никифор, фунта два будет! — спешу поделиться радостью.

Напарник мой хмуро посмотрел на мою добычу, пошевелил недовольно губами, сказал:

— Вижу. А пескарей я тебе больше все одно не дам.

— Почему?!

— Самому ены пригодятся.

И отвернулся.

Я вспомнил свою утреннюю радость, стало обидно до слез.

Кончили удить, подплыли к берегу. Дядя Никифор разложил рыбу в два кошеля. Один взвалил на меня, другой взял сам. Пришли в Сарку. Дядя Никифор вывалил рыбу в два больших корыта, а сам куда-то ушел.

Сижучас, другой. Время уже к вечеру, пора бы рыбу делить, а его все нет и нет.

Наконец появляется.

— А, ты еще здесь,— говорит.— Кати домой, сегодня больше уже ловить не будем.

Я повернулся.

— Постой,— окликнул он меня.

— Что, дядя Никифор?..

— А хошь, выпорю тебя? — сказал он вдруг.

— За что? — не сразу нашелся я.

— За просто так, без зла всякого. Тебя ж по годам пороть надо.

Тут я и вспомнил взгляд Тимофея Долинова. Вспомнил, хотя на широком лице дяди Никифора глаза виднелись тусклыми светлыми пуговицами, как глаза уснувшего налима. Но показались мне они страшнее злых и ненавидящих глаз Долинова.

Кроме сарского Никифора славился в нашей округе еще один рыбак. Звали его дядя Леша. Хотя какой он дядя, скорее старик. Шел ему восьмой десяток. Высокий, сухощавый, узколиций. С длинными седыми волосами и жидкой козлиной бороденкой. Ходил он круглый год в сапогах и в шапке. По теплу на нем длинная рубаха в горошек на выпуск, подпоясанная узеньким ремешком. В ненастье поверх рубахи натягивал крашенный в зеленый цвет балахон. Несмотря на возраст, у дяди Леша был полный рот зубов, хороший слух, единственный, правда, но зоркий глаз. На озере он пропадал днями. Ловил удочкой, и только одних крупных судаков. Никогда и никого не брал с собой, даже сыновей. Так что я и не мечтал когда-нибудь с ним порыбачить. Тем более, что родом он был не из наших мест, пришлый, держался нелюдимо. О его прошлой жизни ходили всякие толки. Да и после случая с сарским Никифором у меня вообще пропал интерес к взрослым удачливым рыбакам.

Но познакомиться с дядей Лешей поближе мне все же пришлось. Без всякого на то моего старания. И судаков с ним половить тоже довелось. Вот как все вышло.

Ладил я снасть на щук. И нужна мне была проволока для поводка. В то время найти в деревне кусок стальной проволоки было делом непростым. Но мне так хотелось ее достать, что я высматривал где только мог. И высмотрел наконец в доме дяди Леша на подоконнике. После долгих колебаний я ее все-таки унес.

В тот же день проволока попалась отцу на глаза.

— Откуда ена у тебя?

— На улице нашел,— первое, что пришло на ум, сказал я.

Отец покачал головой и, видно, все понял по моему лицу.

— Ой ли?.. Я давненько на свете живу, а таких оказиев со мной что-то не случалось.— Цоп меня пятерней за волосы.— А ну, говори, паршивец, откуда ена у тебя?

— Нашел.

— А не врешь?

— Чего я врать буду? — плачусь уже.

— Ну, смотри, дитячко!..

Отец погрозил пальцем и вышел из избы.

Надо же было случиться, что отец тоже видел у дяди Леши эту проволоку.

«Влип! — подумал я.— И чего, дурак, не признался сразу? Теперь вдвое попадет». Хотел броситься вслед за отцом, да ноги не оторвать от пола.

Возвращается отец, ремень наготове, и за меня. Дерет и приговаривает:

— Отродясь под моей крышей не было вора! Завелся, гад ползучий! Отучу! Отучу разом подлеца!

Кончил, говорит:

— Вытри бесстыжие глаза. Отнеси туда, где взял. И чтоб это было в последний раз, сколько жить будешь.

Пошел я к дому дяди Леши, продолжая всхлипывать от стыда, обиды и боли.

Пришел, встал у порога. Уставился в пол, босой ногой сучок ковыряю.

— Вот Возьмите, дядя Леша. Я у вас с окна давеча... Простите, дядя Леша, меня. Ей-богу, никогда больше..

— Верю,— перебил он.— Я и отцу твоему сказал, как спросил ен меня. Говорю: сам дал твоему сыну. Не поверил, видать. Ладно. Хватит об этом. Все!

От слов дяди Леши в горле у меня запершило, я заревел в голос.

— Вор, Андрюша, берет чужое, а оставляет свою совесть. Ты же пришел за ей, за совестью. Так что кончай дожди лить.

Я поднял голову. Единственный глаз дяди Леша смотрел сурово и холодно. Но мне в ту минуту взгляд его показался ласковым. Так никто на меня не смотрел, кроме мамы.

— Ты вот что. Не желаешь ли составить мне компанию? Я не понял.

— Так ты не хочешь? — повторил он.

— Чего не хочу, дядя Леша?

— Со мной на рыбалку.

Мне показалось, что я ослышался.

— С удочками?..

— Чудак, а с чем же еще?

— Да я... Да с вами... Конечно!..

— Ступай. Готовься к завтраму. С утра пораньше.

А удочки не бери. Свои дам.

Все-таки удивительно устроена жизнь. Только что подходил я к этому крыльцу, едва передвигая ноги под тяжестью горькой невидимой ноши. И вот лечу от того же крыльца легкий как птица. Всего один взгляд, несколько слов сотворили такое чудо.

Мы подружались с дядей Лешей. Я научился таскать судаков.

Вернувшись с добычей, дядя Леша делил ее поровну. А если оставалась неделимая рыбина, он резал ее ножом. Кому хвост, кому голова — выпадало по жребью. И все это делалось молчком. И долгая ловля, и скорая дележка. А мне, конечно, было до смерти любопытно послушать дядю Лешу, но на расспросы я не осмеливался.

Но однажды, мы как раз ловили напротив Офонькиного мыса, дядя Леша сказал:

— Ты, я вижу, Андрюша, умеешь слушать.— Я удивился: перебрасывались мы с ним двумя-тремя словами, и то только на берегу и только о судаках.— Завидую я тебе,—

продолжал он.— Живешь ты вместе с родителями. Ой как хорошо это. А вот я вырос круглым сиротой...

Я вмиг забыл про удочки. Но дядя Леша вдруг замолчал, и мне показалось, что больше я уже ничего не услышу сегодня.

— Да-а...— произнес он наконец.— Никому в жизни, кроме жены, об этом не говорил, а тебе чего-то захотелось рассказать. Да. Своих отца с матерью я не помню. Как потом мне рассказывала тетушка, я у ней воспитывался, отцом у меня был случайный человек. Лесной приказчик. Говорили, шибко красивый, молодой. Ен в наших местах после себя много детишков красивых оставил... И моя матушка ему на глаза попалась. Ну, ен мимо не прошел... А ена веселая, ладная из себя была. Работала тогда на речке, Черная называется. С мужиками лес плавила. Ну и приказчик там работал.

Случился у них раз залом. Заторило реку поперек бревнами. Туда-сюда, разбирать начали. Мама моя за делом за этим в воду упала. На такой работе дня не бывает, чтобы не искупаться. Ну, пошла ена к костру сушиться. А приказчик тут как тут. Давай ее лапать. Мама, говорили, по́рная женщина была. «Ах ты, гад, мало тебе одного обмана!» — схватила его в охапку, подтащила к берегу да и толк в реку. Приказчик тот успел-таки уцепиться за ее сарафан, вместе и полетели в воду. Никто не заметил, как это случилось. Спихватились, где Анна — маму так мою звали, — нет ее.

Остался я после того годовалым ребенком. Взяла меня к себе вдовая хворая тетушка. Не было мне еще и пяти лет, как послала меня тетушка милостыньку просить. А в шесть годков был я уже у одного богача в работниках. Летом скотину пас, зимой убирал в доме, на дворе. С восьми лет пахал, косил, жал и хлеб молотил. С пятнадцати стал ходить в Петрозаводск плотничать.

Живал и работал у разных хозяев. Был я, Андрюша, в поведении шустрый, на язык острый. За то бывал бит всем, что поднять можно. Из-за своего характера попадал,

куда попадать никому не советую. А может, и не в характере дело, а в случае?... — дядя Леша задумался, вспоминая. — Было так, — продолжал. — Жил я как-то в работниках у купца Архипова. Шел мне-ка семнадцатый годок. Росту я был высокого, не по годам сильный. Как сейчас помню, позвал меня хозяин и говорит: «Надо, Леша, съездить в Петрозаводск, привезти кой-какого товару. Окромя тебя никому доверить не могу. Вот тебе бумага, ты с ней прямо к Коркину или его приказчику. Запрягай самого резвого коня и дуй скорее. Да, смотри, не задерживайся в дороге. Товар спешный».

Обул ен меня в теплые валенки, тулуп дал. В город я доехал ходко, а на обратном пути, на половинках, попал в страшную пургу. Дорогу завьюжило. Пришлось в деревне одной остановиться. Заехал к знакомому мужику, к нему все заворачивали, поставил лошадь на двор. Дровни с товаром хорошенько прикрыл соломой.

Попил с устатку чайку горячего, закемарил да и проспал до самого утра. Проснулся, вижу: на дворе день светлый. Хватанул себя по голове кулаком да на двор. Бросился к возу, а ен пуст-пустешенек. Я туда-сюда. Прибежал в дом спрашиваю хозяина: «Куда мой товар делся?» А ен разводит руками: «А почему я знаю». Со слезами кричу: «Да как же ты не знаешь?! Ведь меня в твоём доме ограбили!» С испугу и ен заморгал глазами. «Неужто ночлежники?» — гадает «Какне?» — спрашиваю. «А черт их знает. Их более десятка было. Сам-то не слышал, что ли? Ены полную ночь дверями хлопали». — «Куда ены поехали?» — спрашиваю. «А почему я знаю. Одни в город, другие обратно». — «Ты их хоть знаешь?» — «Где там, — отвечает. — Их у меня каждые сутки до пропасти наезжает, всех не упомнишь». Эх, думаю, чего после драки кулаками махать. Что с возу упало... Ищи теперь ветра в поле. Поохал, поахал, почесал свой загривок, поматерился, поплевался да поехал домой.

Еду, а у самого в голове всю дорогу дума бродит: утопиться или повеситься?

Стих ветер, погодушка угомонилаь, и снова ударил мороз. По морозцу-те поздно вечером и воротился. Въехал во двор, хозяин выходит. Давно, видать, поджидал. «Как, Леша, дорога обошлась?» — спрашивает вроде спокойно, а голос уже дрожит. Я молчу. Что скажешь? Тут ен понял, что неспроста молчу. «Ты что, оглох, дубина?» — орет. Я молчу.

Сбрасывает ен с воза мешковину, кричит не своим голосом: «Где товар?» — «Украли...» — «Как украли?!» — «Так и украли...» Дернул ен из моих рук кнут да и хватил меня по лицу. Я от страшной боли войкнул, присел, схватился за лицо. А ен хлещет меня наотмашь, приговаривает: «Не углядел! Не углядел! Вот тебе, сукин сын, за шерсть! Вот тебе за сукно!..» Потом бросил кнут на землю. «Тебя, — говорит, — убить за это мало». Повернулся, пошел.

Будто черт меня под руку толкнул. Хватаю топор — ен у меня на возу в соломе валялся. В один прыжок настиг. Ну и... осудили меня.

Пошел по этапу на каторгу. Аж в Соликамск. На Урале это.

Ужась что я там испытал. Жили мы в дощатых бараках. Спали на голых нарах вповалку. Одежа на нас худая, вши. Бывало, утром стряхнешь арестантскую шинелишку на дворе — снег черный от них становится.

Кормили нас похлебкой, два раза в день. А работали по двадцать часов в сутки. Соль копали да возили на тачках до складов по дощатым настилам. Настил местами пролегал на большой высоте, над карьером. Бывало, ежели кто оступится нечаянно, особенно в ночное время, тому хана.

И внизу, в карьере, — тоже не сладко. Глядишь, и придавила кого глыба соли на отвале. Зимой, опять же, от стужи мерзли.

В страшных муках, как в угарном сне, Андрюша, прошли три года. А на четвертый не выдержал. Договорился с од-

ним товарищем, да мы и сбежали. Долга и страшна та дорога обратно была.

Добрался я до вашей деревни, тут и оставила меня судьба...

А тетушку-то свою схоронил я еще до каторги. Хорошая женщина была. Жаль, мало прожила. От чахотки померла Под самое лето. Мне-ка шестнадцатый годок шел тогда Родных, окромя ее, у меня боле не было. Сколотил я ей гробик — сосед помог. На второй день повез на кладбище Кряду с кладбищем как раз церковь стояла. Сторож открыл церкву, поставил я туда гробик. Сам могилку пошел копать. Копаю и плачу. Брошу лопаты две-три, глаза зальются слезами, мазну кулаком по щеке и дальше копаю. Эх и обидно последнего родного человека лишаться...

Долго копал. Выкопал могилку, присел перекурить, вдруг слышу: «Ты что, рожа греховная, без отпевания хоронить надумал?» Смотрю: дьяк стоит. Здоровый мужик. Волосы длинные, треплются. Ворот нараспашку, ширинка расстегнута. Стоит, пошатывается. Мне-ка сперва показалось, ен с ума спятивший. Сробел я. Говорю дрожливим голосом: «Дядюшка, отпеть мне-ка ее не на что. Дозвольте уж так схоронить...» — «Я богу служу,— рычит,— а ты меня, сукин сын, на обман его толкаешь. Езжай за попом. Гроб пока в церкви постоит». Как я его ни упрашивал, ен ни в какую. Пришлось ехать. Наш поп болел тогда. Пришлось ехать за десять верст к другому.

Приехал. Захожу к нему — чай гоняет. «Ну?» — спрашивает. Кланяюсь в ноги ему. Говорю, так, мол, и так. «А чем расплатишься?» — «Нет,— говорю,— у меня ничего. Ежели хотите, могу отработать». Но, видать, в ту пору работники не нужны были ему. Смотрел ен, смотрел на меня. «Отдашь сапоги мне, и весь расчет»,— говорит. Сапоги те я только-только в бурлаках заработал. «Отпойте покойницу,— говорю;— я согласен». — «У меня без обману, скидывай сапоги»,— приказывает.

Посадил я попа верхом на лошадь, сам рядом иду. При-

ехали уже под вечер. Прямо с дороги отпел ен тетушку и говорит: «Покамест хоронишь, я у дьячка чайку попью». — «Хорошо, батюшка», — отвечаю. Похоронил я тетушку, лег на свежий холодный холмик и заревел коровой.

Сам не свой пошел я провожать попа. А святой отец за чаями у дьячка изрядно напился. Еле вдвоем усадили его на лошадь. Едет, качается, вот-вот свалится. Что-то себе под нос бормочет, а то начнет ругаться матерно во всю глотку. Мне-ка редко приходилось видеть попов. Богу служат — чуть сами не святые, считал я. А тут, думаю, раз ты такой охальник, черта с два я тебя до дому доведу. Сапоги ты получил, мы с тобой в расчете. Одним словом, столкнул его с седла, а сам галопом домой. Ничего, думаю, ночи уже теплые, отлежишься, потом и дорогу найдешь.

С тех пор этих попов я за версту стал обходить. Все, дурак, боялся с тем встретиться. Уж только когда в Питере царя скинули, тогда только перестал труситься. Вот, Андрюша-те, как... — дядя Леша замолчал. В раздумье улыбнулся своим мыслям. — Да. А женился я как. Прямо как в сказке получилось.

Пробирались с каторги когда, в вашей деревне остановились. На ночлег попросились в крайнюю избенку. А в той избушке жила сиротка. Звали ее Стеша. Глянулась ена мне. Наутро, как в путь отправляться, подошел я к ней, посмотрел в голубые, как вода в нашем озере в ясную вечернюю погоду, глаза, говорю: «Стеша, ежели ты не супротив, то я б остался у тебя за мужа. Ты, говорю, сиротка. Я тоже сирота. Может, сама судьба нам быть вместе?..» Ена посмотрела в мой одинокий глаз. Улыбнулась. «Смотри, чтоб потом не жалел...» — отвечает. Ушел товарищ, а я, значит, остался. С тех пор с ней и живем. Сам-то я родом из далекой карельской деревни. Из-под Шомбозера. А оказался на берегу вепсского Капшозера. Вот так, в дружбе и согласии, карел с вепсом и живем... А тогда пожил я годик со Стешей и подался с мужиками на Белозерщину на заработки. Вернулся оттуда с деньгами да хлебом. Купили

мы в тот год лошаденку. На третий год построили домишко. Потом и детки пошли. Вот, Андрюша, как все обстояло-те...

Рассказ дяди Леши взволновал меня. Захотелось поделиться своим. И я поведал ему про сарского Никифора. Тем более, что обидою той еще ни с кем не делился.

— Слышал про него, — сказал дядя Леша, выслушав меня. — Видать, правда...

— Что правда?

— Да будто ен когда-то в городе Ярославле при какой-то школе солдатом работал.

— Каким солдатом?

— А таким. Скажем, набедокурил мальчишка, учитель ему и говорит: «Поди к солдату, пусть ен тебя выпорет». Тот идет. Куда ж деваться. Придет, так, мол, и так. Ну, солдат его и выпорет, сколько велено... От такой работы какое хошь сердце закаменеет. Ай!.. Да бог с ним, с Никифором. Ты его в голову возьми, а из сердца выкинь. И вот почему, пойми. Скажем, закинул ты удочку. Тянешь, а на крючке — ерш. Опять закидываешь — опять ершишко, ваше щетинство. Так ты за это на озеро не серчай. В ем ведь и судаки водятся. Вот о чем помнить надо! Так-те и в жизни, Андрюша. А жизнь — это ведь не озеро. Это ой какое море!..

ПОДПАСОК

В пасху, когда мы все дома сидели за столом, отец посмотрел на меня долгим внимательным взглядом, сказал:

— Вчерась мужики сватали тебя в подпаски. К деду Роману, — отец потупился и продолжал: — Говорили, мол, ты парень подходящий. Стадо доверить тебе можно. Я им в ответ: парень хоть и свой, а хаять не могу. Особо не за что...

На глаза мои навернулись внезапные слезы, в носу за-

мокрило. Вспомнились слова дяди Леши: «Учись, Андрюша. Темному человеку дальше коровьего хвоста видать только коровьи рога».

— А как же школа?..— тяну.

— Школа не медведь,— отец начинал сердиться.— Не убежит твоя школа!

Мама виновато опустила голову, высморкалась в передник.

— Нужда, сыночек, заставляет... Ты уж большой у нас, поразмысли сам. Ведь не от хорошей жизни...

Я заплакал. Заныли и мои сестрички с братишками.

— А ну молчать! — цыкнул отец, стукнув кулаком по столу.— Скусились! Не по носу им...

Все разом притихли.

— Пастыба еще никого не испортила, а от голоду многих спасла... Мужики обещали хорошо заплатить. С коровы по четверти пуда ржи. Все лето сыт будешь. Одежонку, сапожишки себе сладишь. Я все это вырядил у них. Вырядил и кой-каких харчей на зиму. Потом, сытый да обутый, учишься,— голос отца осекся.— Что ж, не понимаю, что ли? Разве ж я не хочу, чтобы мои дети были учены? Сам всю жизнь слепой... Да ведь как живем?..— глухо произнес он и закрыл лицо руками.

Лучше бы он накричал, ударил. Не мог я видеть его таким жалким, растерянным.

— Тять, да разве ж я отказываюсь? — хватаю его за рукав.— Тять.

— Не забудь обход взять у деда Еши,— напомнила о себе бабушка.— Чужой скот пасти — дело не шутейное.

— А может, так обойдется? — сказал отец повеселевшим голосом.

— Ни-ни!

— Ладно. Сходи, Андрюша. Уважь бабушку.

Я пошел.

Дед Еша встретил меня на своем крылечке.

— Вижу по глазам, подпасок идет.

Я кивнул головой.

— Хмурый-те какой... Ено, конечно, Андрюша, у нас, вепсов, скот пасти — последнее дело. Да ты не горюй. Пусть ено последнее, а все ж дело. Нужное. Да и не век же тебе в пастухах ходить, а?..

— Я, дедушка Еша, это...

— За обходом пришел?

— Ага.

Дед подумал, подумал. Почесал седую мохнатую бровь.

— Не бери ты, Андрюша, обходу. Ты еще малый. Поди, дрогнешь или забудешься и положишь в рот ягодинку спелую. Или там где рыбкинку выудишь. А Мец Ижанд и Тойне Поль¹ не любят, чтобы слово не держалось крепко. Тут же ены подгонят к твоему стаду медведя, а то и волка. Паси уж лучше без обходу, мой тебе совет. Только не забывай каждое утро, как встанешь, вспомнать всех своих дальних и ближних родичей. Всех, кого помнишь. Тогда и скотина твоя будет вся в цельности и угоды не травлены.

Слова деда Еши обрадовали меня.

— Значит, можно мне там ягодку или гриб?..

— Можно, можно! Горстями ешь, корзинами домой таскай.

Через день с рассветом меня уже будили стуком в окно. Пока завтракал, вспомнил всех. И деда Ивана, и бабушку Лизу и дедушку Дмитрия, и тетю Настю... Даже учителя Алексея Ивановича вспомнил на всякий случай. Прихватил кнут, выбежал из дома.

А на околице уже коровы собрались. Дед Роман на рожке им поигрывает. Седой, белолицый. В балахоне, портах. На ногах берестяные лапти.

— А кнут зачем? — спрашивает. — У меня-те нет его.

— Как зачем? Пасти.

Я, признаться, думал, что раз у деда Романа нет кнута,

¹ Мец Ижанд и Тойне Поль — у вепсов лесной хозяин (леший) и его половина (жена).

значит, за скотиной буду бегать я, а он только поигрывать на рожке.

— Устанешь, таскавши... Отнеси домой. Даст господь, и так упасем коровушек.

Скрылась из глаз деревня, пришли мы наконец на пастбище.

Дед Роман облюбовал высокую березу, устроились под ней.

— Отдыхай, Андрюша,— сказал он.

— А я еще не устал.

— Со мной не устанешь. Но ты все ж посиди, посиди. Пускай коровушки сами по себе походят. Ишь, оголодали за ночь, так и набросились на травушку. Теперь ены часа два битых будут держаться кучей.

Но вот одна корова отошла в сторону, другая. Третья в кустах уже. Я порывался пойти и вернуть их, но дед Роман, останавливал.

— Ты погоди. Ты поглядывай вон за той, видишь? Герасимова Дуня. Ена в моем стаде поводишь.

Дуня отошла далеко в сторону от остальных. Несколько раз она поворачивала голову и призывно мычала.

— К себе требует. Вот ежели коровушки ей ответят, значит, всё. За ней пойдут. Ены теперь не так голодны. Теперь им охота поискать сладенькой травки. А сладенькая травка где растет? На межах ена растет. Вот Дуня и зовет их туда.

И действительно, коровы потянулись за Дуней.

— Дедушка Роман, наверно, и нам за ними надо?

— Ежели мы с тобой будем за ними ходить, то получится, что не мы их пасем,— усмехнулся дед,— а ены нас. Мы с тобой сейчас подадимся напрямиком к Чухушкам.

Я удивился.

— Почему к Чухушкам?

— А вот увидишь.

И верно. Не успели мы развести на новом месте костерок от комарья, как показались коровы. Проходя мимо, они ос-

танавливались, поворачивали головы в сторону деда Романа и жалобно мычали. И каждой дед Роман говорил:

— Здравствуешь, милая, здравствуешь.

Я пробовал разговаривать с коровами на манер деда, но они недоверчиво пятились, а иные шарахались в сторону.

— Ничего, ничего,— подбадривал пастух,— привыкнут и к тебе, Андрюша. Скотина ласковое слово понимает лучше, чем всякую ругань или битье. Битьем, как и человека, скотину только отпугнешь от себя. Ена тебя будет бояться и обходить стороной. И делать свое — назло тебе. А ты ее лаской, лаской...

Не скоро коровы стали смотреть на меня как на своего пастуха.

— Ты бы это... Андрюша, принес бы какую книжицу,— со смущением сказал как-то дед Роман.— Поучил бы старика грамоте. Хотя, может, ено и грех теперь-те... Поздно-то, может.

Я обрадовался предложению деда Романа. К тому же и опыт у меня кой-какой был. Обучал своих младших братьев и сестер.

Принес я «Книгу для чтения». Дед долго и с удовольствием рассматривал картинки, расспрашивал, что да кто да зачем.

Нарисованная корова удивила его особенно.

— Ты смотри,— говорил он,— и рога есть, и копыта. Надо же!

Про живую дед Роман так бы не сказал.

Приступили к грамоте. Стал я ему показывать и рисовать на песке буквы. Складывать в слоги. Дед очень старательно повторял за мной, но вскоре ему надоела долбежка и он сказал:

— Нет, видать, не по моим зубам буквы-те... Ты уж лучше почитай, Андрюша, вслух.

— Как не по зубам? — удивился я.— Я вон Мирона...

— Так то Мирона! Читай, читай давай!

Я читал. Мне, конечно, скучно было месить перемешан-

ное. Я уже эту «Книгу для чтения» почти всю наизусть знал. Но, думаю, не мытьем, так катаньем. Может, все же заинтересую деда Романа. Но, увы... Да и слушать хватало его не надолго.

— Гляжу я на тебя,— перебивал вдруг он,— сам ты еще парнишка, головка маленькая. И как ена помещается в такой головенке-те?

— Кто помещается? — обалдело спрашивал я.

— Да ена, грамота, наука эта...— и дед Роман смеялся глухим добродушным смехом.

Устав лежать, он садился, осматривался по сторонам и говорил:

— Андрюш, красота-те какая! Благодать-те!.. Ненадоедая. Божья, ена и есть божья... И каждая-те травиночка малая живет, радуется и печалится. Потому как в ей живая душа есть. Иначе бы ена и не росла, не тянулась и ничего бы ей не хотелось. А ведь ей хочется! И солнышка, и дождика, и парного туманцу, и стрекозки какой, чтоб полюбовалась ей, пожужжала крылышками над ей, эх-х...

И уж не зная, как сказать дальше, дед Роман берет в руки рожок. Это вернее. Где словам тягаться с рожком. Складно играет, напевно. Заслушаешься и позавидуешь уменью деда Романа. Но ничего. Может, и я научусь так. Я уже пробую помаленьку. И тут у нас дела идут лучше, чем с дедовой грамотой. Учусь, конечно, в лесу. На днях попробовал в деревне утром, когда скотину собирали, так потом услышал:

— Это кто ж тарахтит-те?

— Известно кто, подпасок. Андрюшка Иванов.

— Матушки мои! Да ему только скотину пугать!

— Ни складу, ни ладу.

— Не говори. Хоть бы не срамился.

— Не слушай баб, Андрюш, учись,— подбадривал меня дед Роман, добавляя с лукавой улыбкой: — Ты меня не выучил, так, может, я тебя... Ты ж молодой...

Однажды я услышал от деда такую красивую мелодию, какой раньше не слыхивал.

Пасли мы тогда скот ночью, в слепень, на брошенных нивах у Вандъярвушки. Развели костер под кудрявой елочкой на случай дождя, сидим подремываем. На зорьке я забылся в крепком сне. Разбудил меня рожок. Открываю глаза, смотрю: дед Роман наигрывает. Да так весело. В такую рань? С чего?! Между тем что-то тревожное почудилось мне в веселом наигрыше.

— Дедушка, ты что?..

— Да вот в стадо гости заявили, — смеется. — Упреждаю, чтоб ены знали, что хозяйева на месте.

— Какие гости?

— Медведи.

Я почему-то вдруг вспомнил про Лысого, на которого напал медведь.

— Медведи?! Ты их видишь, дедушка?

— Нет, не вижу. Коровы мне об них сообщили.

— Как так?

— Ены замычали.

— Да они ж только и делают что едят и мычат! — сказал я, поборов наконец первый испуг.

— Мычат-те, мычат, да по-разному.

Дед Роман перестал играть, прислушался.

— Ушли? — спрашиваю, хотя уже и сам все вижу по спокойному лицу пастуха.

— Должно быть, ушли. Не слышать, чтоб коровушки жаловались.

С того случая я поверил в таинственную силу рожка, который веселой песенкой даже медведей может отогнать от стада. Я стал учиться играть на нем еще усердней.

— Андрюша, — сказала мне как-то мама, — сегодня бабы в деревне спорили: кто на рожке играл. Ты или дед Роман. Мол, где Андрюше так, это дед Роман.

— Нет, мама, — отвечаю, довольный, — сегодня я играл. А дед Роман еще вчера ушел в Долгозеро, жену навестить.

— Вон как! Выходит, ты сегодня один скот пас?

— Ага.

Отец только крикнул:

— Молодчага!

Тот день мне запомнился, видно, потому еще, что он был накануне моего дня рождения. К тому же приехал дед Ваня. На этот раз без гостинцев.

— Ну, внучок,— сказал он, потягивая меня за уши,— сегодня я без гостинцев, не обижайся. На гостинцы ты скоро и сам заработаешь.

— Заработает,— поддержал отец.

— Да и что гостинцы? Съел и забыл. А привез я тебе свои пожелания. Расти умным, сильным, добрым, вежливым и справедливым. Почему? А вот почему. К умному, как к свету, люди тянутся. Сильного — дураки боятся. Доброго — все любят. Вежливость не груз, плеч не тянет, а людьми высоко ценится. Но дороже и выше правды, внучок, ничего нет,— сказал дед, поцеловал в лоб, еще раз потянул за уши и сел пить чай.

НА ПЛОТУ

За столом — дядя Федя, дядя Герасим, мой отец: Тут же и мы, мальчишки: Егор, Ваня — сын дяди Герасима — и я. Внимательно слушаем дядю Федю.

— Я об этом от Долинова Тимофея услышал,— говорит он.— Мол, кошель готовят, неплохо бы подрядиться. Ну, а как услышал, сразу на сплав, в контору подался. Прихожу, говорю. Мол, ежели надо, могу кошельный подряд взять. «Один, что ли?» — спрашивают. Нет, говорю, есть еще мужики, свои, нюрговские. А сам сразу, понятное дело, про вас подумал. «Фамилия как?» — спрашивают. «Рябов»,— отвечаю. «Через два дня чтоб в устье были. Кошель примете».

— Выходит, мы Долинову дорогу перебежали?

— Ничего, со следующим пойдет.

Дядя Герасим, сутулый, костлявый, похожий на грача,

с большим носом, свисающим вниз, постукивает широкой мошлатой ладонью по столу.

— Ишь ты. Молодец, Федор. Молодец, старшой.

— Деньжат заработаем,— улыбается отец.— А то все на лошаденку никак не скопить. Всё дыры кругом, успевай латать только.

— Как, мальцы? Беремся? — поворачивается к нам дядя Федя. Три морщины у него над переносьем разглаживаются, расходясь в стороны, как меха гармошки.

На радостях Егор бьет меня кулаком по спине.

— Бер-ремся!

— Ну, глядите, чтобы не подкачать. Всем работнуть придется.

— Даст бог,— говорит отец,— еще и попутный поможет...

Сильно мелеет Эноя в межень. Бежит с камня на камень, от омутка к омутку. Звонкий тогда у нее голос. И поет она вот о чем: «Мя-эн оя, мя-эн оя!» (Не ручей, я — не ручей!) И верно. Не узнать Эною в большую воду. Широка, глубока и бурлива. Камни на ее пути становятся порогами, а омутки — то долгими, то короткими плесами. Тогда-то и идет по ней лес валом до самого устья.

Тянем кошель. Ночью и днем тянем вдоль берега озера. Тринадцать верст нам пути до истока Капши. А там кошель пойдет самосплавом в Пашу и Свирь.

Мысок лесистым языком высовывается от берега в озеро. Привязываем канат к толстому дереву на таком мыске. Другой конец на плоту крепится к вороту. А уж сам кошель за плотом тянется. Так и идем от мыска к мыску.

Крутим ворот. Ворот поскрипывает. С треском. Как сухостоина на ветру. Канат от натяга глухо гудит. Не руками, так грудью наваливаешься на конец ваги и топаешь по кругу, по кругу.

Спину ломит, ноги и руки тянет ноющая боль. Глаза слипаются, спать хочется. Но нельзя. Боязно и минуту упу-

стить. Благо погода тихая. Ничего, что нет попутного, не было бы встречного.

Едим по очереди, торопливо. Пока ложкой размахиваешь, другие упираются. Тут за едой не рассидишься.

Кажется, подуло.

— Ветерок!

— Наш!

— Повезло, братцы! — кричит дядя Федя.

— Подольше б дул.

Отвязываем от дерева канат. Затаскиваем его на плот. Сами на берег. Теперь можно чуток передохнуть на ходу. Едва заметно, но гонит кошель попутным. Полегче стало. Посматривай лишь да отталкивай его шестами от берега.

Везет нам. До Капши осталось рукой подать, чуть больше двух верст.

— Уж больно ходко идем, — хмурится дядя Федя. — Не заторило бы вдруг...

— Ладно тебе, Федор, каркать. Авось пронесет.

— Эх, пронесло бы...

Дядя Федя то и дело с опаской поглядывает на небо. По нему лениво ползут спокойные белые облака. Череду их кажется мне кошелем, который тянется к невидимому устью по сказочно-голубой воде. Нет перед кошелем тем плота с воротом, везучий, гонит его попутным...

До полудня шли мы ходко. Но потом ветер переломился — подул встречь. Сначала слегка потянул, чуть сморщивая воду в мелкую рябь. Потом окреп, и в бревна кошеля уже не хлюпала, а пощелкивала гонимая низовым ветром волна.

Теперь и воротом было не подать кошель вперед, как ни старайся. Того и гляди, оторвет канат и понесет вспять. Хорошо, еще так. А вырвет ухо в кошельном бревне, разнесет кошель по озеру — тогда беда. Но лучше об этом не думать.

— Заводи канат! — командует дядя Федя. — Принайтовывай!

Обвязываем кошель канатом, конец заматываем вокруг толстой березы на берегу.

— Хорошо, засветло случилось, — отпыхивается отец. — Будь ночью, намаялись бы.

— И ведь осталось-те всего ничего, — вздыхает дядя Герасим. — Федор, как думаешь, долго ль на приколе просидим?

— А бог его знает. К ночи, может, наладится. Айда на берег.

Под елью раскладываем костерок, готовим обед.

— А вы, мальцы, пока там сварится, — говорит дядя Федя, — заваливайтесь-ка спать. В любую минуту тронуться можем.

Мы и рады. Пошли с Егором лапника наломать. А Ваня, хоть и постарше нас был, от усталости спекся. Так и остался сидеть на месте, у костра.

Наломали лапника с Егором, постелили помягче, свернулись калачиками и дрыхнуть.

Пробыли на берегу до самого вечера. А ветер все не унимается. Смеркаться стало.

— Братцы, надо на плот перебираться, — сказал дядя Федя. — Вдруг ветер утихнет, а здесь мы проспим погоду.

На плоту развели костер. Сгрудились вокруг него: к вечеру-то прохладно стало. Да и сидеть — не работать, не жарко. К тому же на воде.

Старшие разговорились.

— Федор, а помнишь, как годов пять тому тянули кошель? Еще заторились по погоде у Наташкиных осин...

— Помню, Василий, помню. Еще с нами Игнат был. Кажись, тогда мы дня три просидели, ожидаючи.

— Верно. Помню, что еды уже ничего не оставалось. В деревню бы сбегать, а мы все надеялись: вот утихнет, вот тронемся...

— Федор, Василий, а не слыхали про то, будто нас всех скоро станут в какой-то колхоз собирать? — ни с того ни с сего спросил дядя Герасим.

— Слыхали. Давно об том поговаривают.

— Сперва комбеды придумали, теперь вот колхозы какие-то. А какая разница?

— Увидим какая.

— Царя спихнули, богатей разбежались, землю мужикам дали — воля. Чего еще-те? Чего придумывать?

— Ты, Герасим, погоди пугаться. Может, это и впрямь штука путная. А может, только так, говорушками и кончится.

— Дай-те бог, чтоб путнее да боком не вышло...

Наступило молчание.

— Ну что, мальцы,— сказал дядя Федя,— не надумали спать?

— Не!

— Не охота еще, поспали ведь

— Дядя Федя!

— Чего, Андрюш?

— А почему назвали то место Наташкины осины?

— Верно! — подхватил отец.— Расскажи, Федор, ребятишкам. Я слыхал, да не знаю, так ли.

— А ты, Ванька, спать! А то потом будешь ползать, как сонная муха по стеклу,— неожиданно вдруг прикрикнул дядя Герасим на своего сына.

— Чего ты, Герасим? Ровно с цепи,— поморщился дядя Федя.— Пускай послушает. Может, и ен хочет.

— Ладно,— буркнул дядя Герасим.

— Про Наташкины осины? Ну, про то место всякое рассказывают. Я дак слышал такое. Давно это было,— начал дядя Федя.— В том месте на берегу росли три вековые осины. Они и сейчас там растут. Лес тогда тоже плавили по озеру в кошелях. И частенько сплавщики пережидали непогоду у тех осин.

Вот раз стояла там артель. Подъезжает к мужикам приказчик купца Ананьева. Был у нас такой богатей. Теперь от его только одна память осталась. Ну вот, значит, подъезжает пьяненький приказчик на лодке. В лодке у него товар. «Эй, вы! — кричит.— Кто из вас куль муки гороховой зара-

ботать хочет?» А в артели той была баба. Приказчик, видеть, про то знал...

Мне вспомнился рассказ дяди Леши про свою мать. «Не про нее ли?» — подумалось. Нет, кажется, не о ней...

— Звали ее Наталья. Вдова из деревни Ранды. Услыхала ена про муку и вспомнила про своих ребятишек. Их у нее дома пятеро осталось. Мал-мала меньше, все есть хотят. «А как заработать-те?» — спрашивает вдова. «Проще некуда, — отвечает приказчик. — Сбрось свои рузины с себя да беги трижды вокруг осин. Вот тебе и будет куль муки». «Ну охальник», — говорят одни мужики. «А чего? Почитай, задарма, — говорят другие. — Давай, Наталья. Мы уж ладно, смотреть не станем».

День выдался пасмурный, ветреный. Мелкий дождик моросил.

Вдохнула Наталья, говорит приказчику: «А стакашек нальешь?» «Об чем вопрос», — отвечает ен. Наливает водку в стакан. «Пей», — говорит. Выпила ена единым махом, будто в прорубь кинулась. Сбросила что на ей было. Обежала три раза осины и быстрее на себя одежду натягивать. «Куль твой. Бери!» — хохочет приказчик. А Наталья со стыда закрыла глаза ладошками, упала наземь. Плачет.

«Ну, мужики, — говорит довольный приказчик, — может, кто из вас потрусит голышом, так я не поскуплюсь ни на водку, ни на муку». Тут старшой артели не стерпел, подходит к приказчику, цоп его за воротки. «А ну, бесстыжая рожа, тащи на берег куль!» — «Пусть сама берет», — отвечает. «Кому говорю, гад! Тащи, пока я тихий...»

Выволок приказчик куль на берег. Туркнул старшой его в лодку, оттолкнул, говорит: «Молись богу, что не утопил...» Вот с тех пор и называется то место Наташкины осины, — закончил дядя Федя.

— А я малость не так слышал, — не сразу сказал отец. — Ну, да не велика разница.

— А ветер-те не опадает. Давайте-ка, братцы, покемарим.

Среди ночи проснулись мы от дикого крика.

Ваня во сне подкатился к огню. На нем задымилась одежда, а дядя Герасим, проснувшись, увидел это. Не долго думая, схватил он багор и ударил им Ваню. Тот вскочил спросонок, бросился как шальной в сторону, да, видать, с перепугу забыл, что на плоту. Так и полетел в воду.

Мы замерли. На наших глазах Ваня прыгнул, а мы даже не шевельнулись.

Первым опомнился дядя Федя. Кинулся за Ваней. Тут и мы подоспели, помогли им выбраться из воды.

Ваню раздели, кто что мог дал ему сухое.

Он все не приходил в себя. Его тормошили, но он молчал. Только озирался по сторонам испуганными, широко раскрытыми глазами. Едва дядя Герасим его окликнул, как Ваня втянул голову в плечи, пригнулся и застыл. Будто ждал, что его сейчас ударят снова.

— Как бы ен умом не тронулся,— тихо сказал отец.

В костер подбросили дров. Надо было сушиться.

— Знаешь, Герасим,— поднялся над костром дядя Федя, протягивая руки к огню. По его еще мокрому лицу забегали красноватые тени,— мы с тобой на одном плоту оставаться больше не хотим. Ты зверь. Рассказывал мне про тебя отец Василия, покойный дед Дмитрий. Царствие ему небесное, ен святая душа и при жизни был, врать бы не стал. Про что говорю ты и сам знаешь... Только я тогда не поверил ему. Теперь верю.

Герасим задрожал всем телом, как осиновый лист на ветру. Длинные тощие ноги подогнулись. Бухнулся он перед дядей Федей на колени. Крестится, сказать что-то хочет, да только губы кривятся.

— Федор! — сказал наконец.— Вот те крест, Федор! Поверь, больше в жизни на сынов руки не подыму.

Отец мой то на Герасима глянет, то на дядю Федю. Так глазами и впивается то в одного, то в другого. Рот открыт, будто воздуху не хватает. И все руку порывается ко лбу

поднести, но никак. Даже пальцы растопыренные свести не может. Смотрю, сползает на колени.

— И я тоже, Федор,— говорит хриплым, едва слышным голосом.

Дядя Федя стоял опустив голову, не глядя на них. Сказал только:

— Ветер утих. Пора.

КОЛХОЗ

Последние два дня мужики с утра до вечера сидят на собрании. То в избе тети Дарьи, то у Тимофея Долинова. Курят до одури, спорят:

— Колхозы! Какие такие колхозы? Мы про них в старое время-те и слыхом не слыхивали.

— Старое... Теперя ено новое. Про старое забудь.

— А кто их придумал, колхозы-те?

— Кто. Жизнь придумала!

— Да власть наша, рабоче-крестьянская. Мы за нее воевали!

— Ишь, лапотник. В рабочие вылез...

— Кто воевал, а кто в корбах да по избам отсиживался...

— Не тебе такое вякать!

— А хоть бы и отсиживался. Там, за тыщи верст, кашу заварили, а ты здесь поди знай!

— Здесь теми ветрами и не сквозило.

Шум и гам забивают голос председателя комбеда Григория Шомбоева.

— Товарищи! Мужики! Эй, мужики!..— уже красный от натуги, время от времени выкрикивает он. Но никто его не слушает.— Вот едрена корень!— с досадой машет он рукой.

Отец мой помалкивает. Туго ему приходится, недели две уже как он член комбеда. Несколько раз заходил к нему Шомбоев.

— Ну, Василий, я на тебя полагаюсь. Поддержать должен...— говорил.

И вот теперь отец крутит головой во все стороны, стараясь не встречаться взглядом с Шомбоевым. А тот машет ему рукой, кричит что-то. Но не слышит его отец. Да и как ему услышать? Давно ли лошаденка куплена. Мечтал о ней, деньги копил. Купил, своя теперь. И вдруг — отдай. И корову. И овец. Кому? В чьи руки?.. Почему? За что? А сам как?..

Гаврила Кулаков хватает отца за рукав, горячо шепчет ему в ухо:

— Видишь ты, я должен за собой вести две лошади да две коровы. Уж про овец не говорю. А другой, значит, три рубля и все. Так где ж тут правда? Укажуй мне-ка. Или я, дубинушка стоеросовая, чего-то не понимаю?..

Не знает мой отец, как быть. Лишь кивает головой.

Желающих записаться в колхоз только пять семей. Все пять — безлошадные. Остальные мужики большинством «средняки». Те, кто чуть победнее их, говорят про себя: «Выбиваемся в люди».

Пошумели, поговорили и разошлись по домам. Так ни до чего и не договорились опять.

За эти два дня отец потемнел лицом, щеки запали, глаза ввалились. Придет домой, за что ни возьмется, все у него из рук валится. То вдруг задумается, подолгу смотрит в одну точку, а в глазах боль и тоска.

Как-то зашел я в хлев. Со свету не сразу разглядел. Отец стоял ко мне спиной, обняв Карего за шею уткнувшись лицом в жесткую гриву. Плечи отца вздрагивали. Мне стало страшно. Дыхание замерло, и только сердце громко стучало. Мне показалось, что отец вот-вот услышит этот стук, обернется... Я осторожно попятился, вышел.

Уже поздно. Мы, ребятишки, мать, бабушка лежим. Но никто не спит.

Отец сидит за столом у окна. На столе тлеет коптилка. Отец рассеянно смотрит в окно и курит сигарку за сигаркой.

Густой табачный дым висит в избе. Из-за дыма свет коптилки кажется малиновым пятнышком.

— И чего гадать, чего убиваться,— вздыхает мама.— Не ты один. Верно, вся деревня...

Отец долго молчит.

— Да как же? — хрипит.— Карего отдай, Милку отдай, овечек отдай! А жить-те как?..

— Эх, кабы знать...

— То-то и ено...

Отец сворачивает еще одну сигарку.

— А ежли что там у них с Карим случится? В колхозе том,— продолжает терзаться.— Кто его пожалеет, кто? Кто ж чужое-те жалеть станет. Уж на что человека взять. Уж какой бы ен добрый ни был, пусть самый золотенный, а все ж никогда так не пожалеет чужое дитя, как свое. Уж хоть тресни, а ведь так ено!..

— Ой, Васенька,— простонала мама в ответ.

Наутро пришел к нам Шомбоев. Он зло посмотрел на отца.

— Ты что же, Василий, ваньку валяешь? — крикнул, сверкнув кровяными белками.— Член комбеда, а сидишь, помалкиваешь!

— Не ори, Гриша,— спокойно сказал отец сквозь плотно сжатые зубы.— У тебя лошадь, почитай, четвертый год, а у меня и двух месяцев не прошло, как ена куплена...

На небритой щеке Шомбоева заходил желвак.

— Понимаю, Василий. Так ведь не в Америку, чай, отправляем, а в наш нюрговский колхоз. А ен для нас, для мужиков, делается. Чтобы сообща хозяйство вести. Из города пришлют плуги, бороны заводские. Жизнь другая начнется... Ведь объяснял тебе... Ладно, пошли на собрание.

— Опять собрание?

— А ты как думал? Как было при царе стоячее болото, так и останется? Революцию запалили — зачем? Народу столько положили — за что?.. Не-ет, брат...

На этот раз собрание проходило в конторе лесоучастка. Здесь уже был телефон.

За столом, покрытым красной скатертью, с графином воды и телефоном, сидел приехавший из района уполномоченный Котов. Рядом с ним — Григорий Шомбоев.

Не спеша набивались в комнату мужики. Рассаживались по лавкам перед столом. С опаской поглядывали на красную скатерть, на графин, на уполномоченного. Все это им было в диковинку.

Котов — высокий грузный мужчина с сивой головой, наголо остриженной, круглой как шар. Маленькие глаза его красны от усталости. Видно, не в одной деревне уже побывал, не один день просидел в шумных прокуренных избах. По правую руку от него, рядом с телефоном, мятый кожаный портфель. Время от времени Котов сует в него руку, достает какие-то бумажки, снова засовывает. И все это он делает вяло, как во сне. Так же вяло, невидяще смотрит он на мужиков. Мужики покуривают, меж собой переговариваются. Все чего-то ждут.

— Ну что, товарищи колхозники, — с улыбкой сказал Шомбоев, вставая, — говорено много, пора приступать к делу, пора записываться...

— Нашел колхозников! — зло крикнул кто-то.

И опять поднялись шум, крик. И опять в этом гаме потонул голос Шомбоева.

Уполномоченный Котов постучал карандашом по стакану. Странно, но все расслышали этот звук. Шум оборвался.

— Тихо, — ровным голосом произнес Котов. Белое одутловатое лицо его уже покрылось каплями пота, будто он и сам только что надрывался в крике. Котов потянулся к телефону, крутнул ручку. — Барышня, мне Калинин, Михаила Ивановича.

Наступила такая тишина, что, казалось, было слышно, как поднимается к потолку махорочный дым.

Котов долго держал трубку у уха и сонно смотрел куда-то в стену поверх голов.

— Ты, товарищ Котов, из нас дураков не делай,— встал дядя Федя.— И салазки нам не загибай. Мы своих вождей знаем. Ены, вожди наши, все за мужика. А Михайло Иваныч первый из них. Ен сам из крестьян...

— Верно, Рябов, крой его, понимаешь ли...

— Не мешай, кто там! Говори, Федор, говори.

— Ты, товарищ Котов, лучше уж по правде. Мужики поймут. Скажи как власть.

Котов слушал, уткнувшись подбородком в белую пухлую руку, глядя в лицо дяди Феди все так же безучастно.

— Простите, мужики,— сказал он наконец.— Пошутить я, конечно. А колхозы все равно будут. Здесь, во всей округе, во всей стране. Потому что бедный мужик без колхоза при какой угодно революции так и останется бедным, отсталым, темным. Это не я сказал. Это сказал Ленин.

— Вот, значит, как...

— Ну что, мужики? — сказал Шомбоев.— Может, хватит дурью маяться. Подходи, Иванов Василий, где ты там? Ставь свою подпись.

— Да здесь я,— откликнулся отец.

— Иди к столу.

Домой отец вернулся уже вечером.

— Ну как? — спросила мама.

— Да записался...— махнул он рукой.

— И ладно. В скопе не в одиночку... А председателем кого?

— Гришку Шомбоева, кого ж еще.

ОБЩИИ ОБЕД

Учился я уже в семилетке, в Корбиничах. Жили с Егором и еще тремя товарищами у одинокой старушки Марьи. По субботам после занятий бегали домой помочь родителям чем можно, в бане помыться да запастись картошкой на следующую неделю.

Тот день праздничный был, годовщина Октября. Кончился в школе концерт, все разошлись по домам. Побежал бы и я, да такой дождина пошел... Холодно. И хоть бы что накинуть на себя было. Кто на концерт не остался, те до дождя проскочили. Дома уже, поди.

Ничего не остается как ждать, должен же дождь утихнуть.

Сижу на школьном крыльце. Есть охота. Скучно, тоскливо одному. И Егора нет. Дома сейчас, болеет. Хорошо ему.

А дождь все льет. Протянулся частыми суровыми нитками с неба на землю. Ветром рванет — и перед носом ни дать ни взять тетрадный лист в косую линейку. Потом опять эти линейки стоймя становятся. Заливают колдобины, колеи, растекаются мутной холодной водой по дороге.

И людей не видно. Кому ж охота вязнуть в такой грязи.

А вон мужик идет. Широкоплечий, рослый. С торбой за спиной. Брезентовый плащ от дождя черным стал. Видать, издалека идет. Мимо. Только глянул на меня и дальше. Вдруг остановился, оборачивается.

— Не Иванов ли будешь?

— Иванов,— я даже привстал.

— Наверно, Андрей?

— Андрей.

— Здорово тогда,— подходит, смеется.— Ну ты и вырос, не узнать!

— А вы кто?

— Я Степан.

— Муж тети Насти?

— Угадал.

— И я вас не узнал.

— Ну дак! Не каждый день видимся.

— А вы откуда сейчас?

— В Усть-Капше был, печь перекладывал. А ты кого ожидаешься?

— Никого. Домой надо, да вон дождь какой.

— Заторило, значит.

Дядя Степан поднялся на крыльцо под навес, снял с плеча торбу. Порылся в ней, достал кусок брезента.

— На, накинь на голову. Вместе пойдем. Мне тоже в Нюрговичи надо. К Федору Рябову зайти, отца твоего повидать.

Обрадовался я такому обороту.

Дядя Степан расстегнул плащ, оттопырил полу.

— Залезай-ка лучше ко мне под крыло.

Пошли. Идти так было сначала неловко, но потом приладились мы друг к другу шагами, и я уже больше не боялся наступить дяде Степану на ногу.

— Учишься-те как? — начался разговор.

— Всяко...

— И собака лает всяко... Колы-те получаешь?

— Нет.

— Жаль, забор нечем городить. С хитрецей, видать, учишься?

— Да нет. Я честно.

— Это ты молодец. Только другой раз прямо да честно заедешь в такое место... что ни вперед, ни назад. Хитрость тоже нужна. Хитрость хитрости рознь. Бывает и добрая хитрость. С нею жизнь веселей, а без нее и пропасть можно.

— Как это?

— А ты вот послушай. До революции еще дело было. Как-то раз собрал я шесть мужиков плотников, повел в Белозерщину на заработки. Там дом срубить, печь сложить — что придется.

Пришли мы в одну деревню. Спрашиваю тамошних мужиков: «Не надо ли кому дом новый поставить?» Вижу, один мнетя, глазком подмигивает. Отзывает меня в сторону. «Я бы не супротив... насчет дома-те... Да вот, понимаешь, беда, — говорит, а сам поглядывает на меня, проверяет. Мол, на какого это я дурака наехал. — А беда, что бедные мы люди. В сусеках мышь скребется — слышно, а в кармане — вошь на аркане. А тут еще, веришь ли, свадьба на носу. Сын женится. По такому случаю у меня с деньгами совсем худо».

Вижу, глаза у мужика плутоватые. И слова вяжет ровно умелый человек дровни. «Ежели путем-делом недорого запросите,— говорит,— так согласие дать оно бы и можно...» Ну, я ему на это прямо: «Мы, вепсы-чухари, не хапуги. Еды нам, чтоб кишка не выла, постель, чтобы спать не мерзнуть, да расчет положенный». Мужик подумал, подумал, говорит: «Еда у меня не богата: гороховые щи густые без мяса. Кровать — печка теплая. А расчет — за шестистенный домишко под тесовой крышей с подвалом и чердаком жилым, с клетью, со съездом на сарай через теплые сени да с амбаром кряду дам по возу ржи на брата да деньгами по полтине в день на каждого». Вот тебе и бедный, думаю, купеческие хоромы заказывает... Непростой мужик попался. Но, думаю, и мы не лаптем щи хлебаем.

Расчет ен назвал подходящий, ударили по рукам. Как водится в таких делах, литки выпили. А утром чуть свет за топоры взялись.

Уговор дороже денег. Сказали — сделали. Отгрохали мужику дом, какой просил. В десять окон, с резными баскими наличниками. От души сработали. Ну и хозяин слово сдержал. Только держать-те, Андрюша, по-разному можно. Наварит, бывало, хозяйка цельный ведерный горшок щей, заквасит, а потом кормит артель неделю. Спали на печке. Да только на голой. За ночь все бока отлежишь. Да и топили так: один греется, а другой рядом мерзнет. Зерна, верно, дал по возу, но овса. И денег дал — половину обещанного. Вот так расчет!

«Ничего, робяты,— говорю своим товарищам, когда мы к другому хозяину переходили,— вы на мужичка обиды не держите. Даст бог, еще и помиримся с им...»

Ну, тут надо сказать такое... Хотел в конце тебе сказать, чтоб и ты голову-те поломал, да ладно. Покамест мы дом строили, я для всякого случая во все углы заделал по бутылочке пустой. А горлышки на время прикрыл пробочками.

Перебрался хозяин в новый дом. Ну, тут тебе и новоселье,

тут тебе и свадьба. Гости с утра пьют, гуляют. А к вечеру — и день-те как раз подфартил с ветром — я эти пробочки вытащил. Тут ночь наступила, а мои бутылочки начали выть-насвистывать на разные птичьи да звериные голоса. Испугался хозяин — и тягу из новой избы вместе с гостями. Невеста так та совсем сбежала. Бросился хозяин среди ночи в старую избу. А я успел и тама пристроить свои бутылочки. Мужик — к соседу. Так до утра на коленях перед иконой и простоял у него.

Утром с первыми петухами забегал по знахарям. «Ты,— говорят ему,— Перть Ижанд¹ чем-то обидел. Согрешил в чем, может, перед ним. Подумай, вспомни».

Так ничего ен и не набегал. Днем и ночью в обеих избах вой, свист. Додумался ен, ко мне кинулся. Прибежал, бух в ноги. «Благодетель, не гневайся на меня, дурака,— говорит.— Ослобони Христа ради от горюшка. А за то тебе — чего скажешь. Вот крест святой». «Это, мил человек, горе не от меня, а от самого бога»,— вздыхаю.

Тут я рассмеялся. Дядя Степан тоже смеется:

— А-а?! Вот тебе, Андрюша, и хитрость. Самого бога приплел! Слушай дальше. «Укажь,— слезится,— в чем моя вина?» — «Ты, мил человек, перестань людей обманывать. Тогда все и станет на место»,— говорю. «Какой расчет за совет полагается?» — спрашивает хитрюга. Ну, я ему тем же: «Разве сам не догадываешься?» Догадался, неглупый был мужик. Запрягает лошадь, привозит шесть возов ржи. «А овес в придачу за худые харчи»,— говорит. И деньги остатние привез. «Благодетели,— говорит,— я вам по пятаку набросил!» — «С набросами уволь,— отвечаю.— На пятак тот мы не наработали. И без него квиты». — «А теперь мне как, с избы-те?» — спрашивает. «Ступай себе в дом,— говорю.— Хоть в новый, хоть в старый, и живи себе с миром. Ладно?» — «Ладно-те, ладно, благодетель,— отвечает.— А молодуха к сыну вернется ай нет?» Вот так вопрос! «Ну,

¹ Перть Ижанд — домовый

хозяин, молодуху вертать мы не подряжались, — смеюсь. — Надо полагать, ежели любит, то воротится».

Товарищи мои, конечно, рады-радешеньки. «Ну, Степан, — говорят, — за тобой не пропадешь». — «А что? — отвечаю. — Говорил же: даст бог, помиримся с ним». — «Вот и дал бог...» — смеются ребята. Видал, как бывает. Мотай на ус, Андрюш. Кажись, мы на подходе.

— Ага.

— За разговором оно ходко получается.

— Не заметили, как и дождь кончился.

— Верно.

— Спасибо вам, дядя Степан.

— За что?

— За дорогу короткую...

— А-а. Главное — на ус мотай. Ладно, я к Федору заскочу. Потом уж к вам.

— Хорошо! Я передам отцу.

Прихожу домой, а дома ни единой души. И стола в доме нет. «Куда же ушли все?» — гадаю.

Сунулся зачем-то в судницу — посуды нет. Вот так раз.

Глянул в окно, вижу, бежит старшая сестра Марфа, а за ней подружка Оля Белова. Обе веселые, смеются.

— Ты чего сидишь тут как богом обиженный? — кричат с порога.

— А где ж мне сидеть? Жду вас, жду... А вас все нет.

— Да все же в школе! На общем обеде!

Я ничего не понял. Понял только слово «обед». А мне так есть хотелось.

— На каком еще обеде? — спросил для верности.

— Пошли с нами, там вся деревня собралась!

— Едят, что ли?

— Там увидишь.

— Мы за тобой уже в третий раз прибегаем!

Глотая слюнки, обогнал девчонок, бегу. В голове одно вертится — обед. Почему в школе? Почему общий? Об этом не думалось.

Прибежали в школу, а там народу... Весь колхоз от мала до велика. Весело, шумно. Видать, только хворые по домам остались сидеть.

Парты убраны. Вдоль стен столы. И посередине столы. Вижу отца, мать, дядю Герасима, дядю Игната, братьев. Вон и Егор. Большой, называется, уплетает за обе щеки не хуже здорового. И дядя Степан уже здесь. Все за столами, машут мне, мол, к нам давай.

Устроился я меж своих. Смотрю на стол, глаза разбегаются. Чего только нет: и щи густые мясные, и мясо тушеное с картошкой, с макаронами, и каша пшенная, и вермишель. А для мужиков и баб еще и по «маленькой» водки.

— Таки обеды да кажинный божий денек, тады б не колхоз был, а рай небесный,— сказал старик Кукушкин, вылезая из-за стола и отвешивая по привычке крест в красный угол.

— А чего? — с азартом ответил раскрасневшийся Григорий Шомбоев.— Годок-другой вместея потрудимся, может, и будет так. А уж социализм построим, так и рай небесный переплюнем!

Возвращались домой за полночь.

Дорогой отец говорил мало. Видно, чтоб не расплакаться от тихой радости, переполнявшей его.

— Сынок,— сказал он мне у самого дома.— Алексей Иваныч, учитель, хвалил тебя. Спрашивал я, как теперь учишься. Сказал: «Способный парнишка у тебя, Василий Дмитрич». А знаешь, как сладко-те слышать такое отцовскому сердцу? Нет, не знаешь. Мал еще... Эх, сыно-ок...

— Тятя, тятя! — тормошила Марфа отца.— А правда, хороший общий обед?

— Правда, доченька. Жизнь-те, по всему видать, все ж налаживается. Чего там говорить...

Но больше общих обедов у нас не делали.

«СГИБЫ»

— А батя и говорит: «С лодырями в одной артели жить не хочу!» Председатель наш аж позеленел. «Тады, Иван Кириллов,— говорит,— коли ты поперек нашей дороги становишься, тады ты классовый вражина. Потому как ты кулак». — «Я?.. Кулак?! Да ты глянь на мои руки-те! — кричит батя.— Вот энтими самыми заработано да горбом нажито! Какой же я, к черту, тебе кулак?! Ведь сам, поди, знаешь!» А ен: «Ты мне свои пятерни не кажи. У кой-кого ены, может, и помозолистей будут...» Мы с Павлухой дергаем батьку за балахон: «Сядь. Чего шумишь? Да разве докажешь чего...» — «Нет,— огрызается.— Я докажу!» И доказал...— дядя Лаврентий замолчал, ткнул растопыренные пальцы в густые черные волосы.

Мама, прикусив зубами край передника, со страхом смотрела на брата.

— Дальше-те чего, Лавруша? Говори...

— А чего дальше?.. Прислали бумагу. Документ, значит. Мол, Иван Кириллов со всем семейством своим облагается твердым заданием. Ежели задание не выполнит, раскулачивается без пощады по закону.

— Ох! Охушки мне!

— Велико ли задание? — спросил отец.

— Страшно сказать какое. Две тысячи кубометров леса. Чтобы ены к весне лежали штабелем у Энои на бережку.

— Господи! — всплеснула мама руками и заплакала.— Погубили тятю, погубили...

— Погоди, мать! — сердито прикрикнул отец.— Лаврентий, а батька-то как на энто?..

— Да как... Поди, и сам догадываешься. Бегает по избе, седину из бороды дергает. Ему теперь без разбору: что глыбо, что мелко. Закусил удила, словом. «Думали, энтим плевком сшибить Кириллова можно! — трясет бумагой.— Ан, глянем ншшо! Глянем, у кого руки-те помозолистей!»

Мать ему: «Отец, одумайся. Что говоришь-те? Ступай, пока не поздно, покайся...» — «Молчи, дура!» — кричит.

— Братик, и что ж теперь-то?

— Видно, рехнулся отец-то наш. Совсем.

— Господь с тобой, Лавруша. Напраслину-те какую на отца возводишь.

— Чего напраслину, ежели через два дня в лес едем...

— В лес?! Все?

— Ен да я с Павлом. Без баб. Пришел вот к тебе, Василий, на поклон... Может, и ты когда на денек-другой... Ведь пропадем мы с батей-то одни. Слыханное ли дело — столько-то кубиков...

Было уже темно, когда Лаврентий ушел к себе в Харягиничи.

Легли и мать с отцом.

— Горюшко-горе, — шептала мама. — Тятю жалко, маму. Братиков жалко.

— Завела: жалко, жалко... Чего скулишь зазря? Подсобить надо б. Чего там.

— Да как же, Васенька?

— Деньжонок малость со сплава осталось? На них и потянем.

— Так ведь робятишкам кому одежонку, кому обувку спроворить надо. Ведь растут, горит на их все огнем...

— Ничего. Перетопчутся. Кое в чем и до другого раза потерпят. Было б чем брюхо набить, это главное.

— Да как же, Васенька?..

— Тыфу, зараза! — сердится отец. — Ейному родному отцу — и ена же против!..

— Эх, Васенька, милый, — всхлипывает мама. — Да не об том я все болею. Как ты, родненький мой, в головушку-те не берешь? Ведь где справиться с таким заданием. Погубит ено всех вас.

— Дура и только!

— Да подумай сам, — не унималась мама, — как не спра-

витель, тады ж... раскулачат тятю с братанниками. И ведь тебя тож...

— Меня-то за что? Я в колхозе.

— Ой, моченьки нет. Да ведь скажут: ен, Иванов Василий, кулаку помогал.

Отец долго молчит, ворочается, сопя.

— И верно, Олена,— растерянно произносит он.— Что же делать-те?

— Васенька, да кабы я знала.

— Не суйся, Василий,— ворчливым голосом произносит бабушка.— О детушках лучше подумай...

— Молчи, старая! — кричит отец громко, на всю избу.

Утром, злой, невыспавшийся, он стоит над точилом с топором в руках. Ручку крутит Мирон.

— Стервец, как крутишь?!

— Тять, я устал уже...

— Я тебе устану! Не дергай, ровней крути!

Отец пробует пальцем лезвие, шурит глаза, ворчит себе что-то под нос.

Он ушел.

Обещал через три дня, а вернулся через неделю.

— Приехали в лес. Начали,— рассказывал отец после бани.— Тяжело начали. Топоры из рук валяются. Понятное дело: на душе погано, и одному богу ведомо, чем все кончится. К тому же у Павла жена хвораает, а у Лаврентия — на сносях. А тут еще батька твой ровно очумел, орет на нас. Мы перекурить, а ен: «Чего расселись? Не время прохладиться!» Чайку бы вскипятить, а ен: «Успеется! Не до чаев должно быть!» А у самого глаза горят. Шало по сторонам смотрит. Кажется, ен всю делянку зубами так бы и перегрыз. Нам спуску не дает, но и себя не жалеет. Стар, а злой, прыти в ем на десятерых молодых наберется. За два дня загонял ен нас троих вконец. К вечеру третьего Павел и говорит: «Так работать будем, скорее помрем все. А ведь пустое, тятя, дело, не осилить нам до весны... Я, отец, пойду». Лаврентий его поддержал: «Права мать, пойдем, тятя, луч-

ше покаемся...» Дед Ваня посмотрел на нас — мы так разом головы-те и опустили. Говорит: «Нет на мне греха, потому и каяться мне не в чем, а ежели вы уходить надумали, то уходите. Но знайте: идете против моей воли. Одного Василия отпускаю сам. Ему мое отцовское спасибо...» — «Тятя, пойдём домой с нами», — просят братья. «Нет, сынки, — отвечает. — Я скорее здесья подохну, чем безгреховный пойду на позор покаения. Уходите, бог вам судья теперь».

Мы пошли. Молчком. Как воры какие. Друг на друга не смотрим. А и как же? Бросили старика одного. Мы как скрылись, ен за топор. Идем, а все слышно — рубит. Далеко отошли. Мне все кажется, будто стук тот не удаляется. Все в ушах стоит. А то и пилу слышно, вот даже как. Дрогнул я. «Робяты, — говорю братьям, — вернусь я к деду. Не могу...» — «Не надо, Василий, — говорят. — При нас-те его гонор держит, а один скорее одумается. Одумается и придет. Куда ж деваться?» — «А как заболает?» — спрашиваю. «В азарте ен не заболает, — говорят. — Да и мужик ен, сам знаешь, нас троих стоит». «Как хотите, — говорю, — а я с ним еще денек побуду. Может, и впрямь поостынет, поймет. Может, уговорю как».

— Эх ты, уговаривальщик, — усмехнулась мама.

— Погоди, мать. «Ладно, Василий, попробуй», — согласились ены.

Возвращаюсь. Подхожу. Дед Ваня в ту минуту сосну валил. Увидел меня и впервой улыбнулся. «Поберегись, Васятка, — кричит, — сейчас рухнет!» Больше ничего не сказал.

Работали долго. Уже ночь наступила. Морозная, со звездами. Луна выкатилась. Светло стало. А я уже подустал порядком. Так руки-те отмахал, что сгинать не сгинаются. А ведь привычный вроде. «Давай, Василий, налаживай ноч-лег», — говорит ен наконец. Поели мы малость, прилегли на лапнике у костра. «Теперь что, — говорит ен. — Раз ты воротился, теперь не пропадем. Даст бог, Лаврентий с Павлом к завтраму одумаются и вернуться». Вот ведь черт,

удивился я про себя, сколько же в ем, в старике, силушки, характеру сколько. Такой и впрямь гору свернет. А ен улыбается, говорит: «Знаешь, Василий, как вы ушли, худо мне стало. Сознаюсь, как перед богом. Может, думаю, и верно стар стал, в голове блажь завелась. Сам-то ладно. Молодых через ту блажь угроблю, вот беда-то. Как подумал так, и уж на то, что ушли вы, сердчать перестал. Эх, решил, подохну — так подохну. Один. А как увидел тебя, душа возродовалась. Нет, думаю, мы еще погодим в рай торопиться. Ты уж, Вася, ладно,— говорит,— шибко-те не ломайся, хоть только рядом будь...»

На другой день, к полудню, пришли братья. Хмурые. В лицо отцу не смотрят, отворачиваются. Ну, молчите — и молчите. Коли работать пришли, работайте. Взялись ены за топоры. Опять квело так. Лаврентий зазевался, ему на ногу лесина упала. Хорошо, удачно. Только ногу ушибло. Вижу, дед Иван весь изнутри закипает, глядя на них. «Чем так,— кричит,— валяйте-ка оба с глаз моих долой! Работники, едрена вошь!» — «А куды валять-то?!» — спрашивает с грустной усмешечкой Павел. «Домой! К бабам под юбки!» — «Домов-те, поди, уже и нет...» Тут догадался дед Ваня, что что-то неладное стряслось. «Как,— говорит,— нет? Погорели, что ли?» Братья молчат, глазами в землю уткнулись. «Отвечайте, сынки, богом прошу...» — «Эх, отец,— сказал Павел,— пока ты тут, тама, в деревне, имущество твое уже описали. С торгов пойдет. Распродадут...» А Лаврентий добавил: «Оставили нам избенку старую, лошадь, корову да пару овец на всех-то...»

Не сразу опомнился твой батька. «А верно ли, сынки, говорите?» — спрашивает. «Верно, отец. Какое ж вранье, не до шуток», — отвечают. «А как же уговор?.. Две тыщи кубиков как же?» — спрашивает ен, будто сам себя. «Наплевали ены на договор», — сказал Павел. Задумался дед Ваня. «А бумага та казенная насчет задания цела, дома?» — спрашивает. — «Дома». — «Хорошо спрятана?» — «Как уж сам прятал, так и спрятана». Дед Иван посмотрел на нас,

подумал еще и говорит: «Коли так, сынки, еще не все потеряно...» — «Отец, одумайся! Куда ж больше-те?!» — было разинул рот Павел. «Цыц, щенок! — прикрикнул на негс дед. — Потом поймешь. А сейчас за работу. Теперь уж нам терять нечего...»

До весенней распутицы заготовили и вывезли на берег Эной две тысячи двести кубометров. Дед потребовал, чтобы лес был замерян при свидетелях. После этого с гордо поднятой головой пошел в сельсовет. Справку ему дали. Правда, посмеивались: «Эх, дед Иван, разве не видишь, против какого ветра плюешь?..» — «Энто у вас от того ветра портки сваливаются, — ответил дед со злостью, — а Иван Кириллов плюнет супротив, да еще как далеко». — «Поглядим, поглядим». — «Оно, конечно, не самим плевать, глядеть можно...»

Придя домой с бумагой, дед сказал:

— Теперь, сынки, у нас есть право жаловаться. Не в район, а куды повыше...

Но Павел и Лаврентий в ответ только пожали плечами.

Тяжелая зима все же сказалась. Дед Иван слег. Думали уже, что не поднимется.

Чуть ему становилось лучше, он просил подать очки и те две бумаги. В который раз их перечитывал, говорил задумчиво, едва шевеля белыми полосками губ:

— Поглядим. Поглядим еще, у кого руки-те мозолистей... — потом долго молчал и добавлял: — А не найду правды, так на кой хрен и жить тады...

Пришла осень, потом зима. Снова повалил снег. Тогда-то, высохший как еловая жердь, дед Иван поднялся на ноги.

— Лиза, — со слабой улыбкой сказал он жене, — кажись, еще одно горе перегоревали.

— Да ты погоду хвастаться, — бабушка, обычно не склонная к слезам, уткнулась лицом в угол передника. Радуюсь за мужа, она узнавала сейчас в нем своего прежнего Ивана. — Поди, до порога не доковылять на своих-те...

— Коли встал, Лиза, то пойду. Гляди...

Как только дед немного окреп, собрался он в дорогу. В Питер.

Вернулся через две недели. Вид его поразил бабушку, она не помнила своего мужа таким счастливым.

— Вот, Лиза, правду принес! — звонко, по-мальчишески закричал дед Иван еще с порога, держа над головой лист бумаги. — Вот ена! Это наши губошлепы навывдумывали, что я кулак. А я в Смольном был. У самого Кирова. По-ведаль ему все. Руки свои показал. «Обидели тебя, Кириллов, — говорит Мироныч. — Крепко обидели и обманули. Но ты на Советскую власть зла не держи. Советская власть сама против этих сгибов. Ена, — говорит, — горой стоит за мужика. А всякие каналы и головотяпы на местах только мешают, под ногами путаются и великое дело портят. Но мы их приструним, — говорит. — Езжай домой со спокойной душой. Все, что забрали обманом, вернут тебе». Вот как, Лиза. И руку на прощанье пожал Мироныч-те.

В тот же день дед Иван пошел в сельсовет. Положил перед председателем привезенную бумагу. Тот и глазом не моргнул. Ему уже сообщили «сверху». Только еще раз глянул на подпись Кирова, на печать — все в порядке, все, вроде, настоящее.

— Ну, Иван Кириллов, ты и орел...

— Орлом называли, когда помоложе был, а теперь одно — дед, — ответил он и, хитро прищурившись, добавил: — Только такого деда не кажинной оравушке сгибами сломить. Руки-те во!..

— Да-а... Руки чисто мужицкие, чего там...

— А давно ли ты песни другие пел, председатель?

— Был грех, Кириллов, был...

— Иному твой грешок жизни станет... Ладно. Ты вот что, записывай-ка меня с детушками моими в колхоз.

— Чего-о? — председатель покосился на деда, не шутит ли. Переспросил: — Куда записывать?

— В колхоз, тетеря!

— Кириллов, мы ж тебе все вернем, — более прежнего

опешил председатель.— Есть ли тебе резон записываться? Ты же у нас теперь на господских правах.

— Записывай, записывай,— перебил дед.— Мне Киров так сказал: «Ты, Кириллов, все ж держись колхозу. Мой тебе совет,— говорит.— А дело это верное. В дело я это верю, потому и тебе так говорю. А прав ли я, увидим вместе. Ты,— говорит,— человек от земли, крепкий, должен дожить».

— Вон ено что. Выходит, это ен тебя надоумил.

— Не надоумил, а посоветовал. Разница...

— Ну Кириллов, ну Кириллов! Все такой же...

НОЧЬ В ИНТЕРНАТЕ

В Корбеничах при семилетке открыли школьный интернат — для тех, кто из дальних сел. Разместили его в доме бывшего купца, лесопромышленника Ананьева. Мы с Егором, а всего было нас гавриков двадцать, жили в комнате на втором этаже. Посреди комнаты стоял большой стол, вдоль стен — казенные топчаны. Ни воспитателей, ни уборщиц, ни истопников не было. Сами готовили себе еду, сами следили за порядком и чистотой. Жили, в общем-то, дружно, хотя ребята подобрались разного возраста. И тут уж кто постарше норовил все же проехаться на младшем. Тогда семилетки в глубинных деревнях только открывались, желающих продолжить учебу набиралось много. Вот и приходили ребята, бог знает когда окончившие начальную школу.

Вечерами, перед сном, по углам комнаты собирались компании погодков. Затевались игры. У нас, младших по возрасту, они часто кончались потасовками. Незлобивыми и скоротечными. И если мы уж слишком шумели, кто-нибудь из старших бесцеремонно и с явным удовольствием растаскивал дерущихся. В углу младших воцарялся мир, недолгий, правда. До следующей ссоры...

Поздний осенний вечер. Тьма за окном непроглядная.

У нас тишина, какой еще не знавала наша комната. Только изредка доносится с улицы тонкий посвист бездомного ветра, тревожный и сиротливый. Но ровное шелканье ходиков напоминает о тепле и покое людского жилья. Ходики висят на стене меж окон. Каждый шелчок часов срывается, как тяжелая капля в пустое ведро.

Все ребята до единого сгрудились вокруг стола. На столе копилка. Свет ее отбрасывает на стены огромную горбатую тень склоненных наших голов. Ваня Кудряшов, сын дяди Герасима, читает вслух. Рядом с Ваней сидит его приятель Самсонов. Высокий, широкоплечий, с уже пробивающимися усами над верхней губой. Самсонов из деревни Хмелеозеро, ему двадцать один. Мы с ним в шестом классе. Будущей осенью ему в армию, но учится он из рук вон плохо. Кончит ли семилетку — так и неясно. На уроках, когда я вижу, как Самсонов мучается, я ему подсказываю. Не всегда, правда. За это он на меня сердится, но особо не обижает.

Ваня читает. Когда он перелистывает страницу, тень на стене, едва приподнявшись, опускается. Словно вздыхает.

«Он дико взглянул и протер глаза,— глухо произносит Ваня.— Но она точно уже не лежит, а сидит в своем гробе... Он отвел глаза свои и опять с ужасом обратил на гроб.

Она встала... идет по церкви с закрытыми глазами, беспрестанно расправляя руки, как бы желая поймать кого-нибудь. Она идет прямо к нему...

В страхе очертил он около себя круг...

Она стала почти на самой черте, но видно было, что не имела сил переступить ее и вся посинела, как человек уже несколько дней умерший. Хома не имел духа взглянуть на нее.

Она была страшна. Она ударила зубами в зубы и открыла мертвые глаза свои...»

Мы слушали не дыша.

«Наконец остановилась, погрозив пальцем, и легла в свой гроб. Философ все еще не мог прийти в себя и со страхом

поглядывал на это тесное жилище ведьмы. Наконец гроб вдруг сорвался со своего места и со свистом начал летать по всей церкви, крестя во всех направлениях воздух...»

Пока Ваня читал, мы боялись перевести дух, вытянуть затекшую руку, переменить ногу, и теперь сердце тяжело стучало где-то в висках.

— Ну что, натерпелись страху-то? — спросил Самсонов, сам натужно улыбаясь. — Поди, в портки наклали?

Ему никто не ответил.

— Да ведь это ерунда все! — продолжал он. — На бумаге только написано, а сперва придумано. Верно?

— Верно, — ответил чей-то дрожащий голос. Видать, рот открыл, чтобы скорее самому увериться, что жив, что на этом свете еще.

— А поищем-ка, ребята, смельчаков и трусов среди нас, — неожиданно предложил Самсонов.

— Как это?

— А так. Кто просидит запертый в холодильнике десять минут да не заблажит «мама», тот и храбрец, тот и казак. Оно же и для закалки нервов хорошо.

Самсонов смотрит в мою сторону.

Некуда спрятаться от его насмешливого и пристального взгляда. Поневоле, будто играем в «гляделки», уставился я глазами в переносицу Самсонова, стараясь изо всех сил не показать своего страха.

— Ну? — спрашивает он. — Кто первый?

Кому же охота прослыть трусом? Но сейчас, после этой страшной гоголевской истории, — брр!..

— Вижу, ребята, Иванов Андрюшка первым желает. Так и рвется в холодильник, да, видать, скромность за пятки держит, — усмехается Самсонов.

Выбор сделан. Все вокруг вздыхают с облегчением.

— А чего?!

— Десять минуточек всего-те, — шепчет мне в ухо Егор.

— Андрюшка, давай!

— Не робей, парнишка, коль из Ньюговичей!

— Делов-те! Стой себе, вспоминай чего посмешнее,— подбадривают и советуют остальные.

Как я им сейчас завидую, как бы я хотел быть на их месте. Эх, Самсонов, Самсонов...

Я замер в нерешительности.

— Что?!

— Дрейфишь?!

— Никак, спужался? — наседают те, кто боится, что я откажусь, и тогда уж придется кому-то из них...

— Ладно,— говорю я, не узнав своего голоса, чувствуя, как во рту все пересохло.

— Пошли, Ваня. Проводим казака.

Тут до меня доходит, что Самсонову нужна живая душа, чтобы не возвращаться одному. Холодилька — это кладовая для продуктов. Расположена она в самом конце длинного коридора. Даже просто идти в полной темноте по такому коридору и то не очень-то весело.

Мы вышли из комнаты. Прикрывая рукой слабое пламя коптилки, впереди идет Ваня. Я и Самсонов — чуть сзади.

На стены стараюсь не смотреть. По ним движутся наши тени, но сейчас они пугающе чужие.

Дверь холодильки закрылась. Растаяли шаги ребят. Плотная темень обступила меня, словно я бесшумно провалился в беспросветную дыру. Я невольно протягиваю руку и хватаюсь за холодную ручку. Прижимаюсь к ней, наваливаюсь на нее всем телом. Напрасно. Дверь закрыта.

Слышу, как прерывисто дышит за стеной ветер, как он швыряет на крышу пригоршни дождевых капель. Это меня немного успокаивает. Стараясь ни о чем не думать, я начинаю даже нашептывать себе под нос мелодии знакомых песен. «И впрямь у страха глаза велики», — думаю с запоздалой бодростью. Вспоминаю: «Да и что я за казак, когда бы устрасился».

Вдруг что-то зашуршало за моей спиной. Звук был очень слабый, но раздался так внезапно, что у меня сами собой подкосились ноги. Если бы не дверная ручка, я бы, наверное,

упал. Конечно, это была мышь. Но сейчас, очевидно, достаточно было и такой безобидной малости, чтобы все, что я услышал несколько минут назад там, в комнате, нахлынуло на меня со всей ужасающей отчетливой ясностью. Озноб пробежал по моему телу. От шеи вдоль спины потекли ручейки холодного пота. В ушах стоял явственный свист, и я все втягивал, втягивал голову в плечи, чтобы не задел ее гроб, который крестил воздух во всех направлениях...

— Ну как, покойники не съели?

Прошла нескончаемая вечность, прежде чем я услышал голос Самсонова. Сначала мне даже показалось, что он обманчиво донесся из того мира, где мне уже не быть...

— Жив,— хотелось мне сказать, но короткое как выдох слово застряло в горле.

— Вань, а храбрый казак Андрюха Иванов?

— Ладно тебе,— ответил Ваня.— Помоги лучше. Вон ен как в ручку вцепился. Не оторвать, будто в крест православный.

В ту ночь я долго не мог заснуть. Трясло как в лихорадке. Хоть и с головой укрылся, а все было не согреться, зубы долго выбивали костяную дробь. К тому же я боялся заснуть. Боялся встретиться с мертвой панночкой во сне. Но сон, как я с ним ни боролся, в конце концов одолел меня. Я забылся и увидел... увидел встречу. Но странно, совсем иную, ту, что была наяву...

Начало лета. Самая дивная пора в наших краях. Все цветет, все благоухает. Я иду из Корбеничей домой. Дорога бежит серой змейкой через поля, покосы, поднимается на холмы с перелесками, ныряет в низинки, где, притаившись в зарослях черемух и ольховника, позванивают разноголобые ручейки. Как люблю я летом идти этой дорогой! Нет-нет да и увидишь на обочине чибиса с загнутым хохолком над головой. «Чьи вы? Чьи вы?» — спрашивает он. «Да свои, дурашка!» — отвечаешь ему весело, как дедушка Дмитрий сказал бы.

А высоко в небе, под самым солнцем, бьется жаворонок в силках золотых лучей. Кажется, понимает он твою радость, и оттого серебряным колокольчиком разливается его песня. Или это твое сердце поет, взлетев птицей?

В низине у ручья вспархивает черныш с белым надхвостьем. «Тлюи-титит... Тлюи-титит..» — приветствует тебя с ветки.

Славно идти по знакомой дороге в такую пору. Вон и добрый человек навстречу идет. Кто ж это? Всматриваюсь. Ой, батюшки, никак Оля Белова!

Жаром внезапным обдает лицо, но что с моими ногами? Все короче, короче шаги.

Вот она уже совсем близко. И сворачивать поздно. А ведь минуту назад собирался сойти с дороги, обойти стороной. Почему так не сделал?..

На Оле легкое цветастое платьице без рукавов. Светлые волосы убраны в косички. Большие голубые глаза на беленьком личике улыбаются. Кому? Неужели мне?..

Я краснею, опускаю голову. Удивительно, мне хочется с ней заговорить, но... Только что песни горланил, а тут и рта не раскрыть. Глупо топчусь на одном месте, будто невидимые прясла встали на моем пути.

Стоим друг против друга и оба молчим.

— Ты из Корбеничей идешь? — вдруг спрашивает она. спрашивает, видно, чтобы помочь мне справиться с моей неловкостью.

— Ага,— торопливо и благодарно киваю головой.— А ты в Корбеничи?

Да что я спрашиваю, дурак! Ведь эта дорога ведет только туда! Но Оля не смеется надо мной.

— Ага,— отвечает серьезно.

И опять молчим.

Как я себя теперь ненавижу: заговорить надо, ведь мне помогли. Но где взять слова, если все до единого вылетели из моей головы. Хорошо жаворонку, все может сказать своей песней. Я не жаворонок, жаль...

Наконец срываюсь с места, будто кто меня сильно толкнул. Бегу к обочине. Рву первые попавшиеся мне на глаза цветы. Торопливо рву — вдруг не станет она ждать.

Протягиваю руку.

— Вот, возьми. Тебе.

Она смотрит на меня с удивлением, даже с испугом, и не спешит взять. Может, я опять сделал что-то не так? И я снова краснею.

— Что же ты? — хриплю неожиданно. — Возьми. Они пахнут...

Она берет цветы. Осторожно подносит к лицу. Нюхает их, почему-то морщится, но цветы не отстраняет.

Откуда ни возьмись, прилетел рыжий бархатистый шмель. Мало ему цветов на лугу, к сорванным потянуло. Вот он деловито погрузился в желтую середину одуванчика. Теперь мне его не видно — зарылся с головой.

— Хочешь, я провожу тебя до горы? — радуюсь я тому, что Оля не заметила шмеля у самой своей щеки.

— Ты же домой идешь.

— Ну и что?

— Как хочешь, — пожимает она плечами.

Мы идем рядом. Молчим. Только иногда посмотрим друг на друга и улыбнемся. Удивительно, нам обоим и без слов почему-то весело.

На горе, откуда Корбеничи видны как на ладони, я говорю:

— Ты долго будешь в Корбеничах?

— Не знаю. Я в магазин. Продавец на месте, не знаешь?

В магазин я не заходил, но мне так хочется, чтобы Оля застала продавца, и я говорю:

— Был на месте.

— Тогда я бегом. А что? — лицо ее розовеет.

Я поспешно отвожу глаза.

— Ничего, — говорю. — Хорошо. Я тебя тут подожду.

— Как хочешь.

Оля уходит. Сначала она удаляется медленным шагом, потом бежит. Только косички подпрыгивают у нее за плечами. Я стою на вершине горы и смотрю ей вслед. Мне никто и ничто не мешает. Даже собственное смущение. Правда, я все же не хотел бы, чтобы Оля обернулась. И она не оборачивается.

Я хожу взад-вперед. Хожу и думаю, что бы такое сделать. Такое, чтобы она пришла, увидела и удивилась. Но ничего придумать не могу. Поэтому просто хожу, распеваю во все горло песни и уже не завидую жаворонку.

А на обратном пути мы не сказали друг другу ни слова. Но как легко нам молчалось, как весело!..

Этот дивный сон был, наверное, мне в награду за пережитое накануне. Затем, видно, чтобы остаться на всю жизнь сладкой и чистой памятью сердца.

НАПАСТИ

Отец утаил от сдачи кожу телянка. Каким чудом ему удалось, так до сих пор и не знаю. Еще труднее сказать, как он решился на это!

— Мирон, поди-ка сюда,— отец манит пальцем братишку. Тот подходит. Отец шепчет ему что-то на ухо, потом подносит палец к губам.— Помалкивай только, сынок...

От радости Мирон хлопает в ладоши. Отец улыбается, видя это, но вскоре улыбка гаснет, на лице остаются тревога и беспокойство.

— Тятя, правда? — спрашивает Мирон.

Отец кивает головой и подзывает Алексея.

Очередь доходит до меня.

— Андрюша,— говорит он,— обую вас нынче... Теперь будете в сапогах. Всем, правда, крюков не хватит, но по передничку выкроится. Голенища же с чего-нибудь соберем. Тут дядя Павел обещал дать из ношенных. Игнат обещал. Еще у кого выпросим...

— Батя, а кожа-то где?

Я еще ничего не знаю о ней.

— Кожа, сынок, есть,— шепчет отец.

— Есть? — теперь я догадываюсь.— А вдруг узнают? — вырывается у меня.

— Авось обойдется, сынок. Вы уж только помалкивайте.

Мирон тянет отца за руку.

— А кто шить будет?

— Дядя Герасим. Мы уже с ним столковались. Все честь честью. Ен говорит: «За мной не застрянет. Все дела брошу, сразу примусь».

Губы отца кривит жалкая улыбка, от которой мне делается не по себе.

Кожа в кадке, присыпана известью. Кадка спрятана в хлеву под навозом.

Я заметил, что все теперь ходят в хлев только по самой неотложной надобности. Идут с осторожностью, да еще поглядывая по сторонам.

Сам отец навевывался к кадке ночами. Через день вычищенная от шерсти кожа уже дубилась. Местами она еще не поспела.

— Хошь бы поскорее,— торопит отец.— Выну, высохнет малость, помнем на мялах. Сейчас ежели у кого мяла брать, так ведь догадаются. Хорошо, что мяла свои остались, просить не надо. А как помну, сразу Герасиму отнесу,— и решительно повторяет: — Сразу.

Отцу не терпится сбить кожу с рук, будто на том и кончатся его страхи и опасения.

Пришло время сушить ее. Но в то раннее утро, когда отец собирался доставать кожу из кадки, заявился к нам милиционер Петр Шилов.

— Василий Иванов, это вы будете?

Шилов смотрит в окно поверх головы отца. Лицо его холодно, неприступно.

Отец бледнеет, напрасно старается поймать взглядом глаза Шилова, чтобы понять: той ли беды ждать. Хотя чего там понимать.

— Будто и не узнаёшь, Пешка? — пытается шутить отец, скорее с испугу. Он не замечает, как с погасшего конца сигарки, зажатой между пальцами, короткими струйками сыплется на пол махра.

Шилов хмурится. Шутка, конечно, обернулась против отца же.

— Сейчас я вам, товарищ Иванов, не Пешка. Задаю вопрос опять. Василий Иванов, верно?

— Верно,— отвечает отец убитым голосом.

— Так. Кожу делаете?

На щеках отца, под глазами, где не растёт борода, выступает румянец. Видно, вспомнил, как о нем говорят: «Ежели уж есть в деревне честный, так это Иванов Василий». Едва справившись со смущением, отец думает: «Кожевника-то, поди, с ладонь, неужто из-за энтакой ползет в навоз?» И словно на что-то еще надеясь, переспрашивает:

— Кожу?

— Да. Кожу.

— Да что вы, товарищ Пеша...— неожиданно срывается с губ отца.

— Усмешечки делаете, товарищ Иванов? — Шилов доволен, ему все ясно, но вида не подаёт.

Отец понимает вдруг, что оплошал, спохватывается:

— Да что вы, товарищ милиционер! Да я... Поверьте, ни в коем разе. И не хотел я. Какие смехи, товарищ Шилов?..

— Как мошник затоковал. Ено верно. Какие смехи, когда к слезам свадьба катится. Что по закону нельзя делать кожи, знаете? — резко, с чувством высоты своей власти, спрашивает Шилов.

— Да как же... слышали.

— Так. Слышали. Добровольно отдадите али за понятиями послать?

Деваться некуда.

— Да есть у меня кожица,— говорит отец, теперь уже торопясь скорее сознаться.— Маленькая, вот такая всего-то.

Вот им,— он показывает в нашу сторону,— сапожки спроворить думал. В школу не в чем бечь.

Шилов громко посапывает, идет к двери. Следом, отрывая от пола отяжелевшие ноги,— отец. Он все говорит, говорит, глядя с надеждой в крепкий затылок Шилова.

Милиционер остается ждать во дворе. Отец ковыляет к хлеву. Вскоре выходит, держа в руках еще сырую кожу.

— Товарищ Шилов, ежели забираете, так завернуть бы в дерюжку какую. Ведь по деревне пойдете...

— Нечего. И так донесу.— Шилов дергает из рук отца край кожи.

Какое-то время отец стоит ошеломленный. Смотрит невидящими глазами вслед милиционеру. Потом срывается с места. В два прыжка настигает Шилова, хватает его за плечо. Тот оборачивается, толкает отца кулаком в грудь.

— Я, Василий, на службе. Так что смотри, на кого руку поднимаешь...

Вечером приходит к нам дядя Павел.

— Вот. Как обещал. Ены, правда, шибко старенькие. Подметок нет — износились. Но, глядишь, на что и сгодятся,— он ставит принесенные сапоги в угол. Смотрит с некоторым удивлением на отца.— Чего нос воротить? Поди, такими уже брезгуешь?

— Эх, Павлуха, Павлуха,— горько вздохнув, мотает головой отец.— Не знаешь, не ведаешь, какая напасть приключилась.— И рассказывает все дяде Павлу...

Уже давно отец сильно кашляет, жалуется на боль в груди. После случая с кожей он слег. Дня через четыре стал подниматься, ходить по избе.

В один из таких дней зашел к нему дядя Федя.

— Ну как? — спросил.— Вижу, на поправку пошел.

— Кажись. Вроде кашель уж не такой, не отдает болью.

— Ты кури, Василий, помене. А то и вовсе брось, вернее будет.

— Не отстаёт, зараза липучая! — отец со злостью смотрит на дымящуюся сигарку.

— Ты вот болеешь, а я тебе завидую,— сказал вдруг дядя Федя.

— Это чего ж так? — удивился отец.

— В сельсовет надо. На собрание идти.

— Об чем же собрание?

— Заем.

— Заем, говоришь?

— Не слыхал, что ли?

— Да где там. Цельный день дома на лавке портки просиживаю да махорку перевозжу.

Чуть позже отец остается наедине с невеселыми мыслями. Они неотступны, теснятся в голове, мучают. Наконец удается уйти от них, но странным образом. В глубине души он все больше начинает верить, что там, на собрании, за шумом и спорами о нем забыли. И так уж в это поверилось, что начало казаться, будто фамилия его вдруг исчезла из списка. Была — и нет, хотя никто не стирал ее, не вычеркивал. И чтобы не было в том уж никакого обмана, захотелось ему и самому исчезнуть из избы, из деревни. Нет, не спрятаться, а затеряться, куда-то запропасться.

Почему-то представилось ему, что он на небе. Чуть пониже бога, сам по себе. Он босиком, в одной рубашке и портках. Но тут тепло, не дует. Никаких сапог не надо. Его никто не видит, а он смотрит вниз с удивительно спокойным сердцем. Смотрит и видит все, что делается в Ньюговичах...

Размечтавшись, отец чувствует, как душа его начинает оттаивать. Нет в ней больше места тягостным мыслям. Ничто не теснит грудь. Дышится легко. И где та напасть, которая вкатилась без приглашения...

— Иванов будете?

Отец поднимает голову. Перед ним смуглое худощавое лицо с густыми усами. Маленькие карие глаза светятся натянутой приветливостью. Подает руку.

— Здравствуйте, товарищ Иванов. Болееете?

— Хвораю малость,— не сразу отвечает отец, чувствуя в своей руке тепло чужой руки.

— Ну как, Иванов, будем подписываться на заем?

— На заем? — с искренним удивлением переспрашивает отец.— Да ведь давно ли на его подписывались?..

— Эх, Иванов! Время-то бежит...

Отец озадаченно чешет затылок.

— Да надоть будет на пятерочку-те...

— Чего-о?! — уполномоченный запускает ладонь под широкий ремень, хохочет.— Ну шутник ты, Иванов! Развеселил. И, главное, рожу такую сурьезную соорил. Ловко же у тебя получается. Ладно. Посмеялись и будет. Я тебя, Иванов, меньше чем на сотню подписывать не буду. Хоть ты что со мной тут делай.

— На сотню? Трудненько будет. Да что делать. Другие не богаче. Ну, где тут? — отец недоверчиво косится на бумагу.

— Вот. Где пальцем показываю.

Отец неловко держит подсунутый карандаш и медленно, с великим трудом рисует несколько букв в узкой графе.

ГОРОД

Заканчивая семилетку, мы с Егором думали, куда и как дальше. Не поступить ли нам в какой-нибудь техникум? Эта мысль казалась дерзкой, несбыточной. А если?.. Было б здорово. Но в какой техникум? Да и как на такую затею посмотрят дома?..

Однажды мы увидели на ногах Антона Прохоровича Дятлова, директора нашей школы, что-то очень красивое — черное и блестящее. Это были новые галоши. Как-то Егор принес мне одну из них показать.

Мы с восхищением вертели в руках упругую повизгивающую резину, водили ногтем по рубчатой подошве. Но больше всего поражало нас нутро обувки. Малинового цве-

та, ворсисто-мягкое. Сунешь руку — она как в раю. И такое чудо на ногах носят, жаль даже...

— Андрюш, нам бы вóт в какой техникум поступить,— сказал Егор, не отрывая глаз от литой пупочки на пятке.

— В какой? — не понял я.

— В галошный. На это же тоже надо учиться, чтоб галоши делать.

— Наверно, нет такого техникума,— засомневался я.

— Раз галоши есть...

— Еша, скорее это резиновый техникум.

— Пожалуй, верно,— согласился Егор, вздохнув.— Да и где такой техникум? Поди, где-нибудь в Москве только.

Вскоре галоши были забыты. А перед самым выпуском, по совету учителей, надумали мы с Егором поступить в техникум бумажной промышленности. Для этого надо было ехать в Ленинград. Нам тогда казалось, что город этот где-то на другом конце света. Что о поездке туда можно только мечтать, не больше. Но, может, потому мы и решились.

Узнав об этом, мать всполошилась:

— Да куда ж ены?.. Далее Шугозера отродясь не бывали, и на тебе — в Питер! Пропадут оба!

— Вон дед Иван говорит: тама человек что иголка в стогу,— поддержала бабушка.— Запропаستится, и век не сыщешь. А тут не человек, а полчеловека. Мальчонка все ж...

— Да будет вам, будет,— останавливает их отец. В душе он горд моей решимостью, хотя и рассчитывал на мою скорую помощь семье. Но теперь он на это махнул рукой.— Расшумелись, раскудахтались! Нет чтобы сперва умом раскинуть. Одно слово, бабы. Я своему дите не враг. Худого ему не желаю. Теперь посудите сами. Вот ты, Анисья-ма-тушка, ответь: в нашем роду были ученые ай нет?

Бабушка, поджав губы, молчит.

— Так,— многозначительно произносит отец.— А ты,

мать, скажи: в вашем роду были? Ну, деда Ивана я в учет не беру, мужик грамотный. А еще? Молчите? А тут у нас свой ученый вырос. Да, да. Вы не глядите, что ен еще парнишка. Когда ж учиться-те? Семь классов отмахать — дело нешуточное. На то голову надо. Ежели при голове, так ученье дело такое. Засасывает. Вот и его засосало, охота дальше. Так что же, поперек вставать? Нет уж, лучше мы поднатужимся, а ен пускай человеком станет...

Отец разошелся. Чувствуется, ему самому доставляет удовольствие быть таким рассудительным и многословным.

— Да не об том речь, отец! Кто ж против? — говорит мама. — Только, может, не в Питер ехать-те, а в Тихвин. Все ж не так страшно.

— Страшно... Да ведь кто едет-те? Образованные люди едут. Не к медведям же едут, а тоже — к образованным. Да им энтот Питер через пару дней будет что мне глухие корбы за Эною!

Окончательно убедив себя, отец снисходительно улыбается, уверенный, что и другие поняли. Не спеша сворачивает сигарку, но, не довернув до конца, сыпает махорку в ладонь. Лоскуток бумаги поднимает над головой.

— Что энтот?

Мать и бабушка с недоумением смотрят на отца,жимают плечами.

— Шут его знает что. Обрывок, вот что.

— Обрывок... — передразнивает отец. — Это бумага. Бумага! А из чего ена делается?

Мать с бабушкой переглядываются.

— Скажи, Андрюша, — отец, довольный, подмигивает мне. — Скажи-ка, сынок. Темным-те...

— Из древесины бумага делается, — смеюсь.

— Слыхали? Сколько той древесины через наши руки прошло, а ведь невдомек, поди, было. Вот, оказывается-те, как.

— Что-те мы не слыхали, чтобы кто в деревне бумагу делал.

— Верно. Ее с кашей исть не станешь. Потому в Ньюговичах и не делают.

— Ее, мама, на фабриках производят.

— Да где ж, сынок, у нас такие фабрики?

— Будут, мама.

— Верно, Андрюша! А теперь глядите сюда,— говорит отец.— Годков через семь-восемь, смотришь, наш Андрюха — начальник такой фабрики. А?!

— Эх, куда хватил отец! Все ж жаль, что в Тихвине нет такого техникума, в Тихвин лучше бы...— говорит мама.

Споры кончились перед самым нашим отъездом. Мама и бабушка напекли пирогов. Собрали нехитрые пожитки. Уложили все в торбу. С исподу рубашки, в потайном карманце, булавками были пристегнуты последние отцовы рубли.

— С богом,— сказал на прощанье дядя Федя.

— Ну, вы тама, в Питере-те, шибко рты не разевайте,— сказал отец.

Пешком дошли до Тихвина. Там на станции впервые увидели поезд. Одно дело видеть его в кино, на белой тряпиче, и совсем другое, когда он перед тобой, настоящий, и ты смотришь на него своими глазами.

Это был товарный. Он промчался мимо, страшно гремя колесами, обдавая наши лица горьковато-дымным ветром. Жутко и весело было стоять рядом с насыпью. Огромные ящики на колесах качались из стороны в сторону как живые, но невидимая сила не давала им остановиться, увлекая вперед с бешеной скоростью. От мелькающих вагонов рябило в глазах и слегка кружилась голова.

Когда поезд растаял вдалеке, мы переглянулись.

— То-то еще будет! — крикнул Егор.

Этот пролетевший со свистом и воем состав обещал нам впереди новый, манящий мир. Мир, который страшил нас загадочной неизвестностью и одновременно притягивал к себе властно и сильно.

Сели в поезд. И когда он тронулся, совсем потеряли голову.

— Еша, Еша, смотри! Мы будто на месте стоим, а в окне-то!.. Все побежало! И солнце, смотри-ка!.. Будто с нами вперегонки!

— Ага!

Егор вдруг уставился на сверкающую от солнца металлическую дверную ручку.

— Смотри, Андрейка, да ведь это чудо чудесное!..— только и смог он сказать.

Мы прилипли к окну. Все, мимо чего проносились, поражало. Даже придорожный лес, поля убранного хлеба и еще колосившиеся, покосы со стогами и зародами, стада коров на выкошенных пожнях — все это казалось удивительным, не таким, как у нас.

Так и приехали, не отрывая лица от окна.

Ленинград ошеломил. Он навалился на нас толкотней вокзала и улиц, бесконечными рядами высоких каменных домов, магазинами и кинотеатрами, звонками трамваев и гудками машин. Мы были восхищены и подавлены.

Егор вцепился в мою торбу.

— Андрюш, а как потеряемся-те? Что тогда?

— Господь с тобой! — в ужасе отвечал я мамиными словами.

— Ведь пропадем тогда...— не унимался Егор.

Но через минуту он вдруг застывал с открытым ртом перед очередной витриной. Забывал обо всем. Мне приходилось его тащить.

— Да уж видали почти такое,— нервничал я.

Нам очень хотелось есть. С домашними пирогами уже давно было покончено.

Мы увидели лоток. Небольшая очередь. Люди покупали красные шарики, на вид аппетитные и мягкие. Глядя на них, разгорелись глаза.

— Давай купим?

— Давай.

Встали в очередь.

— Нам этого... шариков этих... — говорю.

— Может, роликов? — ответил продавец.

Вокруг засмеялись. Я растерялся.

— А как правильно? — спрашиваю.

— Помидоры это, кулема деревенская!

Взяли по килограмму. Зашли в какую-то подворотню, устроились на ящиках.

Егор поднес ко рту, даванул зубами тугую кожицу. Густой сок струйкой ударил ему в глаза.

— Ой! — вскрикнул он от неожиданности.

— Не так, верно, кусаешь?

— А как? О, черт! До чего ж невкусно-те!

— Верно, Ешка. Зря только деньги потратили на помидоры эти, — сказал я, отплевываясь.

Уже где-то к вечеру разыскали техникум. Большое пугающе-красивое здание. Но войти в него нам не пришлось. Двери оказались закрытыми. Из объявления на стене мы поняли, что приемная экзаменационная комиссия начнет работу только через неделю.

— Рано приехали, — вздохнул Егор. — Что делать-те будем? Ночевать где?

Я не знал.

Вконец уставшие, мы еще долго слонялись по вечерним улицам, приискивая место для ночлега, но так и не осмелились где-либо устроиться.

В окнах то там то здесь зажигались огни. «Верно, счастливые люди живут в таких домах», — думал я, глядя на эти окна.

— Вон тетенька идет. С виду добрая, давай к ней попросимся.

— Давай.

— Тетенька, — плачущим голосом сказал Егор, — пустите на ночь. Худо нам...

Женщина замедлила шаги, остановилась в нерешитель-

ности. Окинула нас внимательным взглядом, в котором первоначальное недоверие сменилось любопытством.

— Откуда сами будете?

— Мы из Нюрговичей.

— Не слыхала такого города.

— С Вепщины мы, из деревни. В техникум приехали поступать, а еи закрыт...

— Вон оно что. А деньги есть?

Егор вопросительно покосился на меня.

— Маленько,— говорю,— есть.

— Прижимистые, сразу видно — из деревни. Ладно, пошли.

Дом оказался неподалеку. Поднялись на третий этаж по узкой лестнице с высокими ступенями. Женщина открыла дверь, пропустила нас вперед, сказала:

— Я сейчас,— и захлопнула за нами дверь.

Мы остались одни в темном коридоре.

Егор схватил меня за руку.

— Все, Андрюха, заманила... Ограбят нас. Не иначе...

Я был напуган не меньше Егора.

— Хоть бы отпустили живыми...

— Говорил: давай чего купим. Все бы денег меньше осталось.

— Покупки тоже отобрать можно.

Тут дверь открылась, раздался щелчок, и над нами, высоко под потолком, зажглась тусклая лампа.

— Кто такие? — хмурясь, спросил мужчина в очках и в кепке с длинным козырьком. Он явно опешил, увидев нас.

— Мы... мы...

— На ночевку мы... Нас тетенька привела...

— Тетенька? Какая? Как звать?

— Не знаем.

— Что ж это получается, орлы? Вошли неизвестно как и неизвестно к кому... — сказав это, мужчина закрыл дверь на ключ, сунул его в карман и, прислонившись к стене, уставился на нас. Видно, соображая, что с нами делать.

Мы чуть не закричали от радости, когда пришла та женщина. Уже не чаяли ее дожидаться. Думали, как бы нам только убраться подобру-поздорову.

— Евгений, я за тобой ходила,— сказала тем временем женщина мужчине.— Вот эти двое, деревенские, переночевать просятся.

— А-а...— с досадой протянул тот.— Ладно. Соседей сегодня никого нет, пускай на кухне. Брось им чего-нибудь на пол.

Мы заснули как убитые. Проснулись от шума за стеной, словно там проносился поезд.

Дождались хозяйку.

— Здравствуйте, сколько за ночевку платить?— спрашиваю.

— Ладно,— махнула она рукой,— не надо.

— А что это у вас там за поезда грохают?— осмелел Егор.

— Эх ты-ы, поезда...— усмехнулась женщина. На ее бледном лице появились мелкие морщинки.— Лифт это.

— А-а...

— Знаешь хоть что это такое?

— Не-а,— покраснев, ответил Егор.

Целый день мы бесцельно бродили по длинным и широким улицам, похожим на каменные реки. Оглушенных и растерянных, несло нас людским потоком, словно две щепки. И уже притупился, приугас наш восторг перед суетой и красотой огромного каменного муравейника.

Ночь провели на знакомом теперь Московском вокзале. Идти к той доброй женщине было неловко: про деньги спросила, а денег не взяла. Да и не нашли бы мы ее дом.

На вокзале устроились в углу, где народу побольше. Не спали, подремывали. Здесь было шумно, тревожно. То и дело рядом появлялись какие-то мужики, парни с грязными щетинистыми лицами. С синяками на скулах, с разбитыми носами. Под их недобрыми взглядами мы с Егором невольно жались друг к другу, как овцы без пастуха.

На другой день все последние деньги были проедены. Теперь у нас ни украсть, ни отобрать было нечего. Егор даже вздохнул с облегчением. Он не переставая говорил только о доме. Особенно после того, как натерпелись мы с ним стыда у пивного ларька. Проходили мимо, вдруг какой-то пьяный как заорет на всю улицу:

— Братцы, братцы, вон они! Тараканы запечные! — тычет в нашу сторону рукой. — Избяная Русь на Питер поперла! Берегись!..

Кинулись мы с Егором бежать куда глаза глядят да сколько мочи в ногах. Так стриганули, что чуть не растерялись. А когда увиделись снова через минуту какую-то, бросились обниматься, как родные братья.

— Эх, Еша, — говорю, — видать, и верно домой надо. Здесь не пропадем, так с голоду помрем. Да вот билеты... Денег-те нет.

— Тю! — бросил Егор. Я уже было привык видеть на его лице страх и растерянность, а тут смотрит, будто сам черт ему не брат. — Похристарадничаем и уедем!

С каким-то веселым удивлением я подумал о нем: «Надо же. Все был такой, а теперь вон какой. Никак город на него подействовал? Это за три-то дня?»

— Сейчас придем, — деловито продолжал Егор, — найдем вагонную тетеньку подорожее. Я мокроту разведу. Ты рядом стой. Стой и тоже носом пошмыгивай, все поможешь.

Поезд на Тихвин уходил вечером.

Нашли вагонную тетеньку. Высокую, толстую, с круглым белым лицом. По всему было видно, что она простужена. На шее у нее висело полотенце. Она то и дело утирала им прохуdivшийся нос.

Подошли к ней. Егор заканючил. Я от его нытья как-то незаметно для себя тоже захлюпал.

— Куда ехать-то надо? — строго спросила проводница.

— В Тихвин, тетечка. Домой, тетечка. К дорогим родителям нашим... Вот...

— Что мне с вами делать? Прямо не знаю. Ладно, погодите, не до вас пока.

Поезд уже должен был вот-вот тронуться. Проводница поднялась в вагон — казалось, она забыла про нас. Мы уже по-щенячьи повизгивали у самых ее ног. Наконец, оглядевшись по сторонам, она бросила:

— А ну мигом в вагон, сорванцы! Забывайтесь под нижние лавки. И чтобы ни чиха, ни пука у меня. И меж собой не чиркать. А то выкину на первой же станции. Спите лучше, в Тихвине разбужу.

Так мы добрались.

От Тихвина, пешком отмахав сто двадцать верст, пришли в родные Нюрговичи.

— Вернулся, сынок!.. — обрадовалась мать. — Отошал-те как! Поди, на чужой стороне не дома.

— Ой, мама!..

Отец, выслушав меня, сильно огорчился. Рухнули надежды, которые связывал он с моим отъездом.

— Эх вы-ы... Я-те думал... А вышло, значит, так: этот Питер нам бока повытер. Ну, коли не судьба начальником фабрики быть, пойдешь в лесорубы. Пойдешь к Игнату Зорину. Как, по носу? — сурово спросил он.

ЛЕСОРУБ

Снегу по пояс. На земле, на деревьях — бело от него. Днем и небо белое. Куда ни глянешь, везде снег. Глаза устают от него. Но когда на шее висит сорок норм, больше устаешь от другого...

Наша делянка у Энон. А далеко отсюда, на Вечое, работают дядя Герасим с Ваней и Егором. Ваня так и не закончил семилетку, бросил.

На делянке нас двое — я и Игнат Зорин. Дядя Игнат — друг детства отца. Ростом высокий, кряжистый, с разбойничьим лицом, заросшим черной щетиной. Над глазами с красными кровяными прожилками ежами кустятся густые брови. Вид у него хмурый, говорит по настроению, и речь

его не обходится без слов «спросу нет». В деревне за глаза его так и зовут.

Мы работаем рядом, но по отдельности. У него свои штабеля, у меня свои.

Я комель уже до половины прошел пилой, а дядя Игнат все ходит вокруг дерева, все снег утаптывает. Не спеша посмотрит на ствол, постучит по нему топором, чтобы снег с ветвей осыпался. Чтоб не пылил потом на голову. Где мне угнаться за ним. Гляну в другой раз — а у него уже дерево валится. А я все пилю свое.

Из-за неразговорчивости дяди Игната молчим с ним днями. Но вот он подходит, садится на свежий пенек, предварительно сунув под себя рукавицы. Долго и пристально смотрит, как я работаю. Его внимание заставляет меня шевелиться резвей, а получается, я это чувствую, суетливо и бесполезно.

— Глядельщик, спросу нету, пришел карты путать, — в грубоватом голосе дяди Игната мне слышится сочувствие. — Отдохни уж ладно. Дух переведи и костям дай распрямиться, а то через месяц так и останешься сложенный в пополамушки. На спине горб зачнет рость. Я, думаешь чего смотрю? Я, брат, смотрю: чему у тебя поучиться? — По виду дяди Игната трудно сказать, шутит ли он, посмеивается ли. Лицо его всегда неулыбчиво. — Опытный человек, Андрейка, закосневает в опыте своем, — продолжает он: — Как научился когда-то, так ен и дует, спросу нет. А неопытный — ен в деле свежий. Ему и деваться-те некуда, как по-своему прилаживаться. Как ему голова подсказывает. Ну, ен и делает. Подойдешь к иному такому, руками разведешь. Думаешь: ну, сокол, не в дверь, а в стену колотишься. А приглядишься, скажешь: «А ведь здорово. Как тебя угораздило-те додуматься, спросу нету». Ну, про тебя пока такого не скажу. Да и какой ты неопытный. Все же вепс — топор в руках не впервой держишь.

— Не впервой, а за вами не поспеть, — говорю я, помаленьку оправляясь от смущения.

— А хотел бы?

— Чего?

— За мной поспеть?

— Хорошо бы. Хоть чуть-чуть бы...

— Допустим, спросу нет. Вот ты это дерево свалишь, потом за какое примешься?

Я оглядываюсь по сторонам.

— Пока точно не знаю. Вот это вроде поближе, сподручнее.

— Сподручнее... Да ты гляди, какое оно в обхват толстое. Свалишь ты его. На его — другое, на то — третье. И окажется ено у тебя на самом низу. Так?

— Так.

— А в штабель скатывать с каких начнешь?

— С каких... Которые сверху, конечно.

— То-то и ено. И толстый хлыст придется тебе закатывать на самый верх штабеля. Потому как ен на самом низу. Так?

— Так.

— Вот тут-те и накарячишься. Время-те тут и ухлопашь. Верно?

— Верно, дядя Игнат!

— Значит, как надо-те?

— Сначала валить самые тонкие, потом потолще, потом толстые. Вот как.

— Сообразил. Только еще одна деталь в этом деле есть. Валить стволы надо крест-накрест. Легче потом кантовать и закатывать будет. Ну, трудись, глядельник пошел к своему делу.

Уже в сумерках скатываем хлысты в штабеля. Дядя Игнат управится со своими — идет мне помочь. Закончив, прикидываем, кто сколько сделал.

— Наворотили кой-чего. Неплохо... — говорит он. — А за неплохо и выпить не грех. Пора и к бараку двигаться, душа тоскует...

«Выпить не грех», «душа тоскует» значат, что дяде Игна-

ту не терпится испить своего чайку. Чай у него действительно свой. Заварка хранится в металлической коробочке с двойной крышкой. А коробочка прячется и бережется. Кроме самого чая в коробочке наверняка смородиновый лист и кой-какие другие травки. Самые-то главные. Но какие? Дядя Игнат не говорит, держит в секрете.

— И не спрашивай, не скажу. А ну отвернись! — командует он, прежде чем начнет колдовать над вскипевшим котелком.

Я отворачиваюсь. Слышу, шуршит фольга в заветной коробочке.

— А теперь можно? — Каждый вечер играем мы с ним в эту игру.

— Погодь!

— А теперь?

— Можно, спросу нету.

Пьем чай. Пьем без сахара, но он кажется сладким. Пахнет духовито, а во рту слегка вяжет язык. Усталость как рукой снимает. Особенно утром хорошо: выпьешь кружечку, и кажется, что он-то и держит тебя на ногах до обеда.

— Вроде, дядя Игнат, в нем и брусничный листок есть. Ну и черемухой малость потягивает... — закидываю я удочку

— Ты, спросу нету, с чаями ко мне не приставай! — сердится Зорин. — Дело пустое. Ты меня лучше про деловую древесину или тама про баланс спроси.

— Это-то вы знаете. И дело любите...

— Про какое же, интересно, дело ты говоришь?.. — вдруг недовольно перебивает дядя Игнат. — Нашел дело, спросу нету! Ежели по совести сказать, так не лежит моя душа к энтому... к энтой...

Зорин от волнения не находит даже слов. Таким я его еще не видел.

— Как так, дядя Игнат? — спросил я не сразу.

— А вот так! Дерево — оно ж растет туго, медленно. От года к году кольца копит. Весной зеленеет, красотой своей

всякому глаз радует и само радуется. Ено ли не знает, как жить сладко-те. Мало того, от щедрот своих приют дает всякой птахе-букахе. Потому как, спросу нету, душа в ем есть! Да ведь по осени, когда лист с его валится, ено ж как горюет. Будто с белым светом навек прощается. И без криков, тихо — в сердце своем. Али, скажешь, ено не горюет?

От угрюмого дяди Игната я никак не ожидал таких слов.

— Я это... особо как-то и не задумывался, — отвечаю.

— То-то и ено. Плохо, что не задумывался. А ведь горюет ено, горюет, Андриуша, да нам невдомек, да и дела нет до того. Мы по его тихую душу-те с топором железным, с пилой...

— Да ведь как же человеку-те без леса? — не выдержал, перебил я дядю Игната.

— Не без леса, а без бревна, спросу нету! Дерево убей — ено уже не дерево, ено уже бревно... Ено, конечно, можно и пошеяться над такими речами, можно...

Мне показалось, что это было сказано обо мне.

— Никто не смеется, дядя Игнат.

— Никто? А разве сам я не смеюсь, коли топор в руки беру? Еще как смеюсь... — Зорин усмехнулся каким-то своим мыслям, продолжал: — Ну да, ну да... Понимаю я... И то понимаю, что дом строить надо, что шпалы на железную дорогу надо. В Донбасс на шахту — тоже надо. Тама подпирать подземелья ихние. Все понимаю. Еще понимаю, что за хлысты-те, за кубики мне и денги платят. Вон как все сладко да гладко устроено, видал? Без денег-те как? Налоги, займы всякие, житье-бытье. Осинovým лыком али тама еловой шишкой сыт не будешь. Вот и идешь в лес за недобрым делом. Да-а, слаб человек, хошь и с разумом.

Дядя Игнат замолкает, задумывается.

— Уж весной, летом я в лесу и прутика не строну. Потому как самое живое все тогда. На живое у меня рука не подыметься. Мне за себя на него и смотреть-те совестно. Ну, а уж зимой, когда надо, куды денешься? Некуда. Одно

думаешь: спит деревце. спит глубоко. Во сне смерть не страшна. А умеючи я ем и малой боли не причиню. Лучше уж моими руками... Да и то сказать... Вот ты видел, как я снег вокруг дерева утаптываю почти до самой земли?

— Видел.

— Думаешь, почему?

— Положено так. Чтобы все в дело шло.

— Положено... Это кому положено? А я, веришь ли, думаю: спилю пониже-те. Срез к утру снежком присыплет. Глядишь, Мец Ижанд и Тойне Поль сразу-те греха моего и не заметят. И не столько по человеческой слабости своей так думаю, как потому, что жаль мне их. Ведь увидят, что лес редет, и сами хиреть начнут. А уж ежели хозяева хиреют, плохо дело. Может, за спиленное-те, хошь и со спросом, дерево ены бы меня и наказали, и поделом. Только не наказания ихнего я боюсь, а что горевать сперва будут. Сейчас же зима, лес спит, и ены пока дремлют. Одни мы тут, спросу нету. Да-а, дерево с человеком так не поступит... Ну, ладно. Будет. Пора, брат, и на боковую. За беседы нам денег не платят.

В субботу день выдался тихий, солнечный. Собрались мы с дядей Игнатом домой в деревню. Помыться в бане, отдохнуть. Решили кончить пораньше. Укладывали последние бревна, когда подъехал к нам директор леспромхоза Михаил Петрович Розмахов. На буланом жеребце, в легких санках. Остановился возле дяди Игната, о чем-то заговорил с ним. Слышу: зовут меня.

Подхожу.

— Иванова Василия сын? — спрашивает директор.

— Да.

— Вот что, Андрей, я тебя на курсы бракеров пошлю. Как ты?

Принял я это известие без всякой радости. Здесь мне было хорошо. Я привязался к Зорину и как-то ни о чем другом и не думал. Да и совестно вдруг стало перед дядей Игнатом — один останется. Пока к нему кого пришлют.

Но Зорин, встретив мой вопрошающий, нерешительный взгляд, сказал сам:

— Соглашайся, Андрюша. Дело хорошее, советую. Даст бог, еще свидимся, поработаем вместе.

Слова его все же меня обидели. Он будто догадался.

— Ено, конечно, Андрюша, напарник ты хороший, да только для тебя так лучше будет. А то бы не отпустил.

— Когда ехать? — спросил я в надежде, что не скоро.

— Завтра к вечеру надо быть в Шугозере.

— Завтра? Нет, не выйдет. У меня нет еще сорока норм.

Розмахов и дядя Игнат переглянулись.

— А сколько их у тебя?

— Тридцать восемь.

— Ну, опоздай тогда на недельку.

— Ладно.

— Приедешь в Шугозеро, спросишь меня. Договорились?

— Договорились. Михаил Петрович, а Егора Рябова тоже направяете на курсы?

— Предлагал ему. Говорит: «Мне и на делянке хорошо. Уроков на вечер не задают. Сыт, — говорит, — учебкой по горло». Игнат Тихонович, — спохватился вдруг директор, — вы же домой собрались. Давайте со мной, подвезу.

БРАКЕР

— Ну, теперь мы заживем. Братанник в начальники выбился, — радовались мои родичи. То же говорили и другие.

Я, конечно, помалкивал. Но в душе чувствовал себя не ловко.

— А чего — заживем? Как жили, так и жить будем, — отвечал только.

— Знаем, знаем, Андрюха.

— Об чем речь!.. Как жили, так и жить будем. Только малость получше, — похлопывая по плечу, говорил дядя Яша

Медведев, двоюродный брат отца.— Да ты не серчай, Андрей, я так не думаю. Это ены так думают,— при этом он хитро подмигивал мне.

Было над чем задуматься.

Издавна заведено: бракер называет каждому лесорубу номер полосы, на которой ему предстоит работать. И тут уж, конечно, по давнему неписаному закону приятелям и родственникам выделялись полосы с лучшим лесостоем. Потому-то бракера любили, побаивались, старались чем-нибудь задобрить или же проклинали на чем свет стоит.

Я приступил к своим обязанностям с начала заготовительного сезона. Уяснив себе границы лесфонда под вырубку, выходил его взад-вперед с топором в руках. После этого начал разбивку на полосы. Я уже знал, кто и как будет работать. На каждого лесоруба или двоих, если они привыкли работать на пару, выделил по две полосы. Одну — с хорошим лесостоем, другую — похуже. Потом я провел лесорубов по всей лесосеке, показал им полосы. Теперь участки можно было разыграть по жребию.

— Ну у Василия и сынок, удумал!

— Такого бракера и захочешь зубами ухватить, да сперва подумаешь: с какого боку.

— Тут не то что ухватить... Чтоб хватать, осерчать надобно. А за что ж на такого серчать?

— Это мы еще поглядим. Может, он только мягко стелет.

— Как там дале пойдет, увидим,— говорю.— А начнем так. Так лучше.

— Та-ак, спросу нету! — со всегдашней суровостью произнес дядя Игнат.

Мой дядя Яша Медведев — один из самых добычливых лесорубов. Среднего роста, жилистый, узколицый. Острый подбородок с тремя волосинами — вперед. На голове ушанка. Уши у нее распущены, тесемки по ветру полощутся. Глаза цвета молодой сосновой коры под солнцем. Говорит, улыбаясь:

— Хорошо, Андрюша. По совести. А когда по совести делаешь, ночью спишь как убитый, Не так ли?

— Так-те так, Яков, да ведь ~~он~~ и по молодости горазд, поди, спать как убитый,— заметил кто-то.

Лесорубы смеются.

У меня со временем вошло в привычку, принимая лес от лесоруба, измерять длину бревна в первом штабеле. В ближнем к краю полосы. Бревна остальных штабелей уже только на глаз прикидывал.

Как-то, было это как раз незадолго до нового тридцать восьмого года, замеряю длину штабельного бревна на одной из полос. Что такое? Короче положенного на три сантиметра. Тут только заметил, что стою не у первого штабеля, а у следующего. Измерил на пробу другое бревно, третье — результат тот же. А древесина деловая. Подхожу к первому штабелю — здесь все в порядке. Вот так раз! Присмотрелся: батюшки, да ведь я уже был здесь и лес этот уже принял. А полоса чья? Да ведь полоса эта дяди Яши Медведева! Да-а... Оборачиваюсь — он стоит сзади.

От неожиданности выпустил из рук метр. Чувствую, лицо краснеет. Стою, будто провинился в чем или застали меня в самую воровскую минуту.

Не скоро я поднял голову, не скоро рот открыл.

— Дядя Яша, дайте мне взглянуть на вашу мерку... — говорю наконец.

— Мерку?.. — прокашлялся Медведев. — А для чего тебе ена понадобилась?

И он еще спрашивает!

— Да так... — выдавил из себя, — взглянуть хочу.

— На. Смотри, — Медведев нехотя протянул мерку.

Мерка была в порядке.

Я злился на себя. В голове вертелось: «Как же так? Почитай, первый стахановец на весь леспромхоз. И обвинить такого... в преступлении?!»

Я пошел с полосы. Шел и ждал, все ловил ухом: вот окликнет, вот позовет. Скажет что-нибудь, развеет мои по-

дозрения или сознается. Но Медведев не позвал, не окликнул.

Прошло два дня. Все это время никак не мог заставить себя пойти к нему. А надо было. Дальше тянуть — только себя изводить. И я наконец завернул к нему.

— Чего, племяш, не приходил принимать? — настороженно спросил он. — Я тебя жду, жду...

— Так я же, Яков Михайлович, уже принял эту древесину.

— Разве? А я и запомнил! Значит, будем считать, принял, Андрюш?

— Выходит, принял. У меня и в журнале приемки отмечено. Принял не в тот раз, когда я у вас мерку мерял, а еще раньше.

— Принял, ну и добро! Чего там разы считать.

— Яков Михайлович, принял-те я принял, а ведь деловая у вас была не по норме... Не вся, конечно.

— Ну, парень, разыгрываешь. Дядю-те своего. Не к лицу это тебе, племяш.

Значит, верно: Медведев рассчитывал, что я поплачусь про себя и промолчу. На этом все и кончится.

Меня словно вицей по щеке хлестанули.

— Дядя Яша, знаешь... давай начистоту. Сдавать древесину в сплав мне?

— Да о чем ты, племяш, завел? Ее еще вести надоть.

— Отвечай. Мне?

— Ну...

— Стану сдавать, всплывет недостача.

— Малец, что тама всплывет? А и всплывет, так в Эное, по весне. Дак ведь на то и бревна, чтоб в воде плавать.

— Брось шутить, дядя Яша. Невесело у тебя сегодня выходит. А если всплывет? Тут уж хоть кубик, хоть два — все одно тюрьма. Или не знаешь?

— Заголосил: тюрьма. Напужался! А ты погоди пужаться-те.

Медведев громко высморкался, свернул сигарку, заку-

рил. Два его рыжих глаза показались мне в эту минуту уже матерыми лисятами. Только что гнались они по следу за добычей, но вдруг их бег оборвал внезапный треск. Лисята застыли, не решив еще для себя: опасность это, или просто лесной звук.

— Так ты, Андрюша, за плута меня принимаешь? — сказал он.

— Больше. За бессовестного...

— Эк, куда хватил!

— вспомните, как мне говорили: «Когда по совести делаешь, ночью спишь как убитый». Ваши слова. Я вас, может, самым честным человеком считал. Какой вы там, к черту, стахановец?! Вы... Да как вы сами-то спите, с какой такой спокойной душой?

Я повернулся.

— Ты куда, малец? — схватил он меня за рукав. — Чего надумал-те?!

— Розмахов приехал, к нему заодно.

— Да ты что?! У меня же детки малые, поди, и сам знаешь? Чего я?.. Чего там, грешен, Андрюша. Черт попутал, верь!

Медведев заступил мне дорогу. Все нагибался, все заглядывал мне в глаза, на что-то еще надеясь.

— Не бойся, дядя. И не кричи про своих деток. Лес я у тебя принял, с меня и спрос. Раньше хоть делал так?

— Каюсь, Андрюша, делал. Раза два-три. Только не у тебя, нет! При других бракерах дело было.

— Ладно. Уйди с дороги.

— Постой, племяш, не горячись. Я научу тебя, как эту напасть избыть, а уж дальше — все. Вот тебе честное слово, верь. Ты помалкивай, а сделай так...

Я толкнул его рукой в грудь. Он покачнулся, чуть не упал.

— Не надо, дядя Яша, меня учить. От твоей науки все одно спокойно спать не будешь.

Я пошел. И вспомнил мне опять обманутый Ореша, Трошин сын из маминой сказки.

Розмахова я застал. Не дослушав меня до конца, он ударил широкой ладонью по столу.

— Баста! За ушко да на солнышко! Материал на Медведева передаю прокурору.

«Нет,— с горечью подумал я,— лучше быть лесорубом. Гнать пятикубовые нормы и кроме пилы да топора ничего не знать».

— Михаил Петрович, да как же так сразу?..

— А так! Он обманул не тебя, не меня — государство он обманул. Такому пощады быть не может.

— Михаил Петрович, да постоите! Ведь он работник какой! Дети у него, семья. Ее-те оставить без кормильца?

Розмахов прищурился и посмотрел на меня с явной неприязнью.

— А ты что за заступник? Ты кого выгораживаешь? Нарушителя закона? Или своего дядю? Ишь, христосик выискался. Ты смотри мне...— он погрозил пальцем.— Незаменимых нет. Все мы винтики одной громадной машины. Покачнулся, пошатнулся — долой. На твое место — новый. Машина должна работать и день и ночь. Жестоко? Да, жестоко. Иначе нам не выжить. Стране нашей не выжить. Понял?

— Если так, Михаил Петрович, меня судить надо. А не его. Если по закону. Я лес принял, я и в ответе.

— Чего-о?! Молчать, сосунок зеленый! Он, гад, твоей доверчивостью воспользовался, а ты его от закона заслонить хочешь! — кричал Розмахов.— Обоих вас под суд, обоих бы надо!

Он неожиданно смолк, полез зачем-то в карман.

— Михаил Петрович, больше Медведев так не сделает. Он мне слово дал.

— И ты поверил?

— Куда ж ему теперь? Я же с него глаз не спущу. Розмахов задумался.

— Пожалуй,— сказал он наконец неохотно.— При-

шлешь его ко мне, день я у вас еще пробуду. Побеседуем. Уж я с ним, с ударником этим, поговорю.

— Не надо, Михаил Петрович. Дайте мне...

— Ладно, ступай,— махнул он рукой.— Воспитывай своего дядю.

Уже в дверях я вспомнил:

— Михаил Петрович, а со штабелем тем... что делать?

— О, черт. Ладно, готовь документы на списание в дрова. Принесешь потом, подпишу.

— Спасибо, Михаил Петрович.

Теперь дядя Яша, приходя в деревню, частил к нам. При мне, не стесняясь, расхваливал отцу с матерью своего начальника. Я старался не встречаться с ним взглядом, отмалчивался. О разговоре с Розмаховым ему не говорил. Думал про себя: «Помучайся, помучайся, дядя Яша. Узнай, каково-то беспокойно спать.» Отец и мать слушали Медведева с простодушной доверчивостью, поддакивали.

— Пой, пой, дядя Яша,— говорил я и, будто по делу, уходил в хлев или в амбар.

Еще долго держалась во мне обида на Медведева.

Как-то весной вызвал меня к себе приехавший Розмахов. «В Тихвине,— сказал он,— открываются курсы учителей начальных классов, посылаем тебя».

В растерянности возвращался я на Эною. Что говорить, следовало радоваться, но настроение было подавленное. Еще вчера все было так просто: зима — руби, принимай лес; весна, лето — сплавляй его, работай в колхозе. На много лет вперед, чуть ли не до самой старости, все было ясно. А тут такой поворот.

— Что, Андрюш, никак влетело? За что хоть? — спросил дядя Игнат участливо.

Тут же среди сплавщиков были Егор, Яков Медведев, дядя Герасим, Санька.

Я не удержался, рассказал.

— А что? И стоит, Андрюш. Много ли учителей вышло

из вепсов? Раз, два... и все вроде. Ежели у тебя душа к тому лежит, так и думать нечего. А здесь-те, в лесу, найдут тебя кем заменить. Не ахти какая наука — лес принимать. Я вон и первый-те класс не ополовинил, спросу нету, а почитай, скоро двадцать годков как с лесом.

Поддержали и остальные.

— Значит, советуете, дядя Игнат?

— Не советую, а велю. И отцу твоему накажу: «Не смей, Василий, поперек Андрюшкиного пути вставать».

— Чего там, езжай, Андрюха! — со смехом сказал Егор. — Ты будто чего испугался. А на то и храбрости надо помене, чем в холодильник идти... Езжай! Глядишь, выучишься, а там и я к тебе когда-нибудь, может, в ученики приду. И попробуй мне только «кол» поставить. Живо по загровку схлопочешь. «Забыл, — скажу, — едрена корень, как мы с тобой в Питере помидоры едали?»

— Будет, тебе, Еша, будет! А вы как, дядя Яша, считаете?

— С богом, как еще.

Что меня дернуло? Я отозвал Медведева в сторону.

— Другой бракер придет, так вы, поди, и его?..

Медведев замахал руками.

— Господь с тобой, Андрюша! По гроб жизни не забуду твоего урока. Уж поверь!

— Верю, дядя Яша, — сказал, а сам с досадой подумал: «Нашел время привязываться к человеку. Забыть пора».

— Веришь, а чего ж молчишь? — с удивлением произнес Медведев. — Положил камень на душу, так сними хоть теперь-те.

— Снимаю, дядя Яша. И не серчай на меня.

— Помилуй, за что? Мне Розмахов все рассказал...

ПЕРВЫЙ УРОК

Я вернулся из Тихвина, и в доме стали заметны перемены. Они были связаны с моим приездом. Теперь отец, свернув сигарку, воровато держал ее в кулаке. И так же воро-

вато затягивался, а выпустив дым, торопливо рассеивал его кулаком. Иное мужицкое слово казалось ему грубым, он вдруг обрывал себя и стыдливо косился в мою сторону. Он вел себя так, словно в доме с некоторых пор поселился большой и важный начальник. Видеть это было смешно и грустно.

Мать и бабушка в моем присутствии все больше напряженно молчали, ловя мой взгляд, стараясь упредить мое желание. Младшие сестренки, играя во дворе и завидев меня, все бросали. Если они сидели на корточках, то поднимались, вытягивались, как солдаты перед командиром. С их лиц исчезали улыбки. Они провожали меня взглядом, исполненным уважительного трепета.

На второй же день все это мне надоело. К вечеру я уже тяготился и мучился ролью важного постояльца. Я кряхтел, покашливал, не находя для объяснения нужных и не ранивших обидою слов. Наконец не выдержал:

— Да что вы, в конце концов?! Смотрите на меня, как на икону. Уже, вроде, и молиться начали. Ты, отец, раньше садился где хотел, закуривал, а теперь по углам прячешься, в собственном-то доме дым рукой разгоняешь. А ты, мать, за столом норовишь мне подсунуть кусок получше. Не отцу, не бабушке, не малым сестренкам, а мне. Нехорошо все это.

— Да ведь и как же, сынок,— слабо возразила мать.— Вепс — учитель. Слыханное ли дело. Я другой раз до тебя украдкой дотронусь, а все не верится: неужто ен мой сын, моя кровинушка.

— Вот именно, Андрюша,— робко поддерживает отец.— В старые-те годы, ежели завидят на улице попа али учителя, шапку снимают. Шапки, конечно, я перед тобой не снимаю, а что ен, дым цигаркин, так ведь, как я понимаю, нехорошо тебе смотреть на такое безобразие. Все же учитель.

— Да поймите! Это в школе я учитель. И то еще неизвестно, выйдет ли из меня толк. А дома — я ваш сын. Мне самому у вас учиться и учиться. Да разве же в грамоте дело?

— Ено конечно, но все же...— отец от моих слов почему-то еще больше смущается.

Какой-то бес так и тянет меня за язык.

— И потом,— говорю,— подумаешь, учитель начальной школы. Это не учитель, а так... пол-учителя.

Отец хмурится:

— Ты это, Андрей, думай, что говоришь-те. Тебе ребяташек доверяют. Дело-те какое. Сурьезное дело.

— Будет вам пениться. Да ты, Андрей, не серчай,— говорит бабушка.— Ты нам дай попривыкнуть. А там, глядишь, все ладом и пойдет. Глядишь, еще и хворостинкой стегану по старой-те памяти.— Спohватившись, она испуганно добавляет: — Да будет ли за что?..

— Вот так-то и лучше, бабушка!

Я был рад: на бабушкином лице снова светилась всепонимающая улыбка.

Я иду по знакомому коридору. Рядом со мной Антон Прохорович, директор школы. Он представит меня.

— Не робей,— в десятый раз говорит он.

— Я спокоен,— отвечаю предательски дрожащим голосом.

— Убрать бы с твоего лба бледность, так можно бы и поверить,— невозмутимо роняет директор, глядя прямо перед собой.

Вот и дверь класса. Антон Прохорович тянет ручку. Сам он где-то позади меня. Левая рука его отведена в сторону — путь к отступлению отрезан.

Входим. Нас приветствуют ученики.

Я обвожу глазами класс. Теперь это мой класс. Четвертый. Самый людный в школе. Сорок два человека. Мальчики и девочки. Маленькие и большие. Вот тот парнишка на последней парте. С толстой нижней губой. Ему, пожалуй, уже лет семнадцать. Почему так отстал? Смотрит на меня с ухмылочкой. Думает, наверное: «С тобой бы, учитель, в «чирка» сыграть, погонял бы тебя...» А та девчушка. Ка-

кая маленькая. Ей бы в первом быть. Но, по всему видно, привыкла сидеть за партой. Слушает внимательно, не шелохнется. И светлые ниточки бровей хмурятся. А ноги до пола не достают, болтаются.

А тот мальчик. Волосы ежом пыжатыся. Они и на вид жесткие как проволока. Этот не слушает. Занят своим. Надует щеку. Глазом косит, смотрит: большой ли пузырь получился. По такому пузырю хорошо пальцем ткнуть. Раздастся звук, будто пробка из бутылки вылетела.

Сколько их!

Одеты кто как. Одни хорошо, в новых отглаженных костюмчиках, платьицах. Другие — в точивных рубахах и в латаных платьицах. Но и эта одежонка хранит на себе следы заботливых материнских рук.

Не забыть бы, что, обращаясь к ученикам, должно говорить «дети».

Пока я перебирал в памяти, что бы еще не забыть, Антон Прохорович представил меня. И уже из среднего ряда какая-то девочка с маленькой головкой на длинной худенькой шее подняла руку. Директор взглянул на нее, кивнул головой. Она встала, что-то произнесла. Весь класс рассмеялся. Девочка смутилась, покраснела, опустила голову.

Я был как в тумане. Переспросил:

— Что-что?.. Что она сказала?

Мальчишка, ее сосед, бойко вскочил:

— Она сказала, что ей мамка сказала, будто вы у них в деревне коров пасли.

Класс замер. Ждали, как я к этому отнесусь. Я же невольно засмеялся. Мой смех подхватили ученики. Но теперь это был общий дружелюбный смех. С ним унеслось куда-то то тягостное напряжение. Теперь я явственно слышал живое дыхание комнаты, наполненной сорока двумя ребячьими душами. Невидимый мостик перекинулся от меня к ним. Я свободно пошел по этому мосту.

— Ре-ребята,— сказал я, заикаясь. Но заикался я уже

не от прежней гнетущей скованности, а от нахлынувшего нетерпения. Я горел желанием войти в них, в сердца моих будущих учеников. Но для этого я должен был сам раскрыться. Первым. Сделать к этому шаг.— Верно,— сказал я.— Действительно, несколько лет тому назад я был пастухом. Сначала подпаском, потом пастухом. А подпаском я был у дедушки Романа из Долгозера. Жаль, его уже нет в живых... Это был удивительный человек. Я всегда буду вспоминать его с благодарностью...— И я поведал ребятам о старом пастухе, многому меня научившем, но которого я, к своему стыду, так и не смог обучить грамоте.

В классе стояла тишина. Я чувствовал, что эта тишина в моих руках, что я управляю ею, как дирижер музыкой. Мальчишка, недавно надувавший щеки, сидел неподвижно. У него даже рот приоткрылся. И рука, лежащая на парте, была неудобно подвернута, но он, похоже, не замечал этого. Глядя на ребят, я почувствовал себя более уверенно и продолжал рассказывать о людях, которых знал и встречал. О тех, кто помогал мне постигать азы жизни, в том числе и о своих родителях.

Неожиданно прозвенел звонок. Я чуть не схватился за голову. «Господи, сорвал урок!— подумалось.— По теме-то ни словечка...»

Ребята не сразу поднялись с мест.

Многие намеревались подойти к моему столу, но потом, с опаской взглянув на директора, проходили мимо и выбежали в коридор.

Антон Прохорович продолжал сидеть на последней парте.

Мы остались одни. Директор улыбался. Улыбка его мне показалась ироничной. Я стоял как побитый.

— Ну что, Песталоцци?..— сказал он наконец, продолжая улыбаться.

Я вспыхнул.

— Смееетесь, да?

— Ты погоди, погоди! Не ерепенься,— сухо оборвал он и замолчал.

Желваки заходили на его скулах.

— Знакомство ты провел во! — он показал большой отогнутый палец. — Не знаю, как с программой пойдет у тебя, но, сдаётся мне, ребяташки тебя полюбят. А это, брат-коллега, в нашем деле, может, самое главное...

В горле все рос и рос солоноватый ком. Я старался его проглотить и не мог. Резко выдохнул, стало легче.

Дятлов ковырнул своим плоским ногтем покрашенный сучок парты, спросил:

— Какой у тебя впереди урок?

Нет, не урок был впереди. Впереди у меня была жизнь!

СОДЕРЖАНИЕ

Дед Ваня	5
Рассказы деда Дмитрия	11
Бабушки	19
Карты	23
Выстрел	23
Долгий день	34
Курильщик	41
Купель	46
Мечь	55
Два рыбака	60
Подпасок	71
На плоту	78
Колхоз	85
Общий обед	89
«Сгибы»	96
Ночь в интернате	103
Напасти	110
Город	115
Лесоруб	124
Бракер	130
Первый урок	137